

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!

Глава I. Вместо предисловия Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтоб я описал вам поскорее мои заграничные впечатления, не подозревая, что вашей просьбой вы ставите меня просто в тупик. Что я вам напишу? что расскажу нового, еще неизвестного, нерассказанного? Кому из всех нас русских (то есть читающих хоть журналы) Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а наверное в десять раз. К тому же, кроме сих общих соображений, вы специально знаете, что мне-то особенно нечего рассказывать, а уж тем более в порядке записывать, потому что я сам ничего не видал в порядке, а если что и видел, так не успел разглядеть. Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по два раза, и все это, все это я объехал ровно в два с половиною месяца! Да разве можно хоть что-нибудь порядочно разглядеть, проехав столько дорог в два с половиною месяца? Вы помните, маршрут мой я составил себе заранее еще в Петербурге. За границей я не был ни разу; рвался я туда чуть не с моего первого детства, еще тогда, когда в долгие зимние вечера, за неумением грамоте, слушал, разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф, от которых я потом бредил во сне в лихорадке. Вырвался я наконец за границу сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но даже все осмотреть, непременно все, несмотря на срок. К тому же хладнокровно выбирать места я был решительно не в состоянии. Господи, сколько я ожидал себе от этого путешествия! "Пусть не разгляжу ничего подробно, — думал я, — зато я все видел, везде побывал; зато из всего виденного составитс я что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама. Вся „страна святых чудес“ представится мне разом, с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе. Одним словом, получится какое-нибудь новое, чудное, сильное впечатление. Ведь я теперь, сидя дома, об чем тоскую наиболее, вспоминая о моих летних странствованиях? Не о том, что я ничего не разглядел в подробности, а о том, что вот почти ведь везде побывал, а в Риме, например, так и не был. А в Риме я бы, может быть, пропустил папу..." Одним словом, на меня напала какая-то неутолимая жажда нового, перемены мест, общих, синтетических, панорамных, перспективных впечатлений. Ну чего ж после таких признаний вы от меня ожидаете? Что я вам расскажу? что изобразю? Панораму, перспективу? Что-нибудь с птичьего полета? Но, пожалуй, вы же первые скажете мне, что я высоко залетел. Кроме того, я считаю себя человеком совестливым, и мне вовсе не хотелось бы лгать, даже и в качестве путешественника. А ведь если я вам начну изображать и описывать хотя бы только одну панораму, то ведь непременно солгу и даже вовсе не потому, что я путешественник, а так просто потому, что в моих обстоятельствах невозможно не лгать. Рассудите сами: Берлин, например, произвел на меня самое кислое впечатление, и пробыл я в нем всего одни сутки. И я знаю теперь, что я виноват перед Берлином, что я не смею положительно утверждать, будто он производит кислое впечатление. Уж по крайней мере хоть кисло-сладкое, а не просто кислое. А отчего произошла пагубная ошибка моя? Решительно от того, что я, больной человек, страдающий печенью, двое суток скакал по чугунке сквозь дождь и туман до Берлина и, приехав в него, не выспавшись, желтый, усталый, изломанный, вдруг с первого взгляда заметил, что Берлин до невероятности похож на Петербург. Те же кордонные [1] улицы, те же запахи, те же... (а впрочем, не пересчитывать же всего того же!). Фу ты, бог мой, думал я про себя:

стоило ж себя двое суток в вагоне ломать, чтоб увидеть то же самое, от чего ускакал? Даже липы мне не понравились, а ведь за сохранение их берлинец пожертвует всем из самого дорогого, даже, может быть, своей конституцией; а уж чего дороже берлинцу его конституции? К тому же сами берлинцы, все до единого, смотрели такими немцами, что я, не посягнув даже и на фрески Каульбаха (о ужас!), поскорее улизнул в Дрезден, питая глубочайшее убеждение в душе, что к немцу надо особенно привыкать и что с непривычки его весьма трудно выносить в больших массах. А в Дрездене я даже и перед немками провинился: мне вдруг вообразилось, только что я вышел на улицу, что ничего нет противнее типа дрезденских женщин и что сам певец любви, Всеволод Крестовский, самый убежденный и самый развеселый из русских поэтов, совершенно бы здесь потерялся и даже, может быть, усомнился бы в своем призвании. Я, конечно, в ту же минуту почувствовал, что говорю вздор и что усомниться в своем призвании он не мог бы даже ни при каких обстоятельствах. Через два часа мне все объяснилось: воротясь в свой номер в гостинице и высунув свой язык перед зеркалом, я убедился, что мое суждение о дрезденских дамах похоже на самую черную клевету. Язык мой был желтый, злокачественный... "И неужели, неужели человек, сей царь природы, до такой степени весь зависит от собственной своей печенки, — подумал я, — что за низость!" С этими утешительными мыслями я отправился в Кельн. Признаюсь, я много ожидал от собора; я с благоговением чертил его еще в юности, когда учился архитектуре. В обратный проезд мой через Кельн, то есть месяц спустя, когда, возвращаясь из Парижа, я увидел собор во второй раз, я было хотел "на коленях просить у него прощения" за то, что не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом. Но тем не менее в этот первый раз собор мне вовсе не понравился: мне показалось, что это только кружево, кружево и одно только кружево, галантерейная вещичка вроде пресс-папье на письменный стол, сажень в семьдесят высотой. "Величественного мало", — решил я, точно так, как в старину наши деды решали про Пушкина: "Легко, дескать, слишком сочиняет, мало высокого". Я подозреваю, что на это первое решение мое имели влияние два обстоятельства, и первое: одеколонь. Жан-Мария Фарина находится тут же подле собора, и в каком бы вы ни остановились отеле, в каком бы вы ни были настроении духа, как бы вы ни прятались от врагов своих и от Жан-Марии Фарины в особенности, его клиенты вас найдут непременно и уж тут: "Одеколонь ou la vie" [2], одно из двух, выбора не представляется. Не могу утверждать слишком наверное, что так и кричат именно этими словами: "Одеколонь ou la vie!", но кто знает — может быть и так. Помню, мне тогда все что-то казалось и слышалось. Второе обстоятельство, разозлившее меня и сделавшее несправедливым, был новый кельнский мост. Мост, конечно, превосходный, и город справедливо гордится им, но мне показалось, что уж слишком гордится. Разумеется, я тотчас же на это рассердился. Притом же собирателю грошей при входе на чудесный мост вовсе не следовало брать с меня эту благоразумную пошлину с таким видом, как будто он берет с меня штраф за какую-то неизвестную мне мою провинность. Я не знаю, но мне показалось, что немец куражится. "Верно, догадался, что я иностранец и именно русский", — подумал я. По крайней мере его глаза чуть не проговаривали: "Ты видишь наш мост, жалкий русский, — ну так ты червь перед нашим мостом и перед всяки немецки человек, потому что у тебя нет такого моста". Согласитесь сами, что это обидно. Немец, конечно, этого вовсе не говорил, даже, может, и на уме у него этого не было, но ведь это все равно: я так был уверен тогда, что он именно это хочет сказать, что

вскипел окончательно. Черт возьми, — думал я, — мы тоже изобрели самовар... у нас есть журналы... у нас делают офицерские вещи... у нас.. эх — одним словом, я рассердился и, купив склянку одеколону (от которой уж никак не мог отвертеться), немедленно ускакал в Париж, надеясь, что французы будут гораздо милее и занимательнее. Теперь рассудите сами: преодолел я себя, пробудь я в Берлине не день, а неделю, в Дрездене столько же, на Кельн положите хоть три дня, ну хоть два, и я наверно в другой, в третий раз взглянул бы на те же предметы другими глазами и составил бы об них более приличное понятие. Даже луч солнца, простой какой-нибудь луч солнца тут много значил: сиял он над собором, как и сиял он во второй мой приезд в город Кельн, и зданье наверно бы мне показалось в настоящем своем свете, а не так, как в то пасмурное и даже несколько дождливое утро, которое способно было вызвать во мне одну только вспышку уязвленного патриотизма. Хотя из этого, впрочем, вовсе не следует, что патриотизм рождается только при дурной погоде. Итак, вы видите, друзья мои: в два с половиною месяца нельзя верно всего разглядеть, и я не могу доставить вам самых точных сведений. Я поневоле иногда должен говорить неправду, а потому... Но тут вы меня останавливаете. Вы говорите, что на этот раз вам и ненужно точных сведений, что занужду вы найдете их в гиде Рейхарда, а что, напротив, было бы вовсе недурно, если б и каждый путешественник гонялся не столько за абсолютной верностью (которой достичь он почти всегда не в силах), сколько за искренностью; не боялся бы иногда не скрыть иного личного своего впечатления или приключения, хотя бы оно и не доставляло ему большой славы, и не справлялся бы с известными авторитетами, чтоб проверять свои выводы. Одним словом, что вам надобны только собственные, но искренние мои наблюдения. — А! — восклицаю я, — так вам надобно простой болтовни, легких очерков, личных впечатлений, схваченных на лету. На это согласен и тотчас же справлюсь с записной моей книжкой. И простодушным быть постараюсь, насколько могу. Прошу только помнить, что, может быть, очень многое, что я вам напишу теперь, будет с ошибками. Невозможно ведь ошибиться, например, в таких фактах, что в Париже есть Нотр-Дам и ВальМабиль. Особенно последний факт до того засвидетельствован всеми русскими, писавшими о Париже, что в нем уже почти нельзя сомневаться. В этом-то, может, и я не ошибусь, а, впрочем, в строгом смысле и за это не ручаюсь. Ведь говорят же вот, что быть в Риме и не видать собора Петра невозможно. Ну так посудите же: я был в Лондоне, а ведь не видал же Павла. Право, не видал. Собора св. Павла не видал. Оно конечно, между Петром и Павлом есть разница, но все-таки как-то неприлично для путешественника. Вот вам и первое приключение мое, не доставляющее мне большой славы (то есть я, пожалуй, и видел издали, сажень за двести, да торопился в Пентонвиль, махнул рукой и проехал мимо). Но к делу, к делу! И знаете ли: ведь я не все только ездил и смотрел с птичьего полета (с птичьего полета не значит свысока. Это архитектурный термин, вы знаете). Я целый месяц без восьми дней, употребленных в Лондоне, в Париже прожил. Ну вот я вам и напишу что-нибудь по поводу Парижа, потому что его все-таки лучше разглядел, чем собор св. Павла или дрезденских дам. Ну, начинаю.

Глава II. В вагоне "Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье". Эту фразу написал еще в прошлом столетии Фонвизин, и, боже мой, как, должно быть, весело она у него написалась. Бьюсь об заклад, что у него шекотало от удовольствия на сердце, когда он ее сочинял. И кто знает, может, и все-то мы после Фонвизина, три-четыре поколения сряду, читали ее не без некоторого наслаждения. Все подобные, отделяющие иностранцев фразы, даже если и теперь встречаются, заключают для нас, русских, что-то

неотразимо приятное. Разумеется, только в глубокой тайне, даже подчас от самих себя в тайне. Тут слышится какое-то мщение за что-то прошедшее и нехорошее. Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть не в каждом из нас. Мы, разумеется, бранимся, если нас в этом подозревают, и при этом вовсе не притворяемся, а между тем, я думаю, сам Белинский был в этом смысле тайный славянофил. Помню я тогда, лет пятнадцать назад, когда я знал Белинского, помню, с каким благоговением, доходившим даже до странности, весь этот тогдашний кружок склонялся перед Западом, то есть перед Францией преимущественно. Тогда в моде была Франция — это было в сорок шестом году. И не то что, например, обожались такие имена, как Жорж Занд, Прудон и проч., или уважались такие, как Луи Блан, Ледрю-Роллен и т. д. Нет, а так просто, сморчки какие-нибудь, самые мизерные фамильяшки, которые тотчас же и сбрендили, когда до них дошло потом дело, и те были на высоком счету. И от тех ожидалось что-то великое в предстоящем служении человечеству. О некоторых из них говорилось с особенным шепотом благоговения... И что же? В жизнь мою я не встречал более страстно русского человека, каким был Белинский, хотя до него только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал все русское. Я по некоторым данным это все теперь соображаю и припоминаю. Так вот, кто знает, может быть, это словцо Фонвизина даже и Белинскому подчас казалось не очень скандальным. Бывают же минуты, когда даже самая благообразная и даже законная опека не очень-то нравится. О, ради бога, не считайте, что любить родину — значит ругать иностранцев и что я так именно думаю. Совсем я так не думаю и не намерен думать, и даже напротив... Жаль только, что объяснить-то яснее мне теперь некогда. А кстати: уж не думаете ли вы, что я вместо Парижа в русскую литературу пустился? Критическую статью пишу? Нет, это я только так, от нечего делать. По записной моей книжке приходится, что я теперь сижу в вагоне и приготавлиюсь на завтра к Эйдкунену, то есть к первому заграничному впечатлению, и у меня подчас даже сердце вздрагивает. Как это вот я увижу наконец Европу, я, который бесплодно мечтал о ней почти сорок лет, я, который еще с шестнадцати лет, и пресерьезно, как Белопяткин у Некрасова, Бежать хотел в Швейцарию, — но не бежал, и вот теперь и я въезжаю наконец в "страну святых чудес", в страну таких долгих томлений и ожиданий моих, таких упорных моих верований. "Господи, да какие же мы русские? — мелькало у меня подчас в голове в эту минуту, все в том же вагоне. — Действительно ли мы русские в самом-то деле? Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? То есть я не про тех русских теперь говорю, которые там остались, ну вот про тех простых русских, которым имя пятьдесят миллионов, которых мы, сто тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем и над которыми глубокие сатирические журналы наши до сих пор смеются за то, что они бород не бреют. Нет, я про нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь все, решительно почти все, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, все, все ведь это оттуда, из той же страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления? Как еще не переродились мы окончательно в европейцев? Что мы не переродились — с этим, я думаю, все согласятся, одни с радостью, другие, разумеется, со злобою за то, что мы не доросли до перерождения. Это уж другое дело. Я только про факт говорю, что не переродились даже при таких неотразимых влияниях, и не могу понять этого факта. Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от

перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? А что, если и в самом деле не вздор? Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж Пушкин ли не русский был человек! Он, барич, Пугачева угадал и в пугачевскую душу проник, да еще тогда, когда никто ни во что не проникал. Он, аристократ, Белкина в своей душе заключал. Он художнической силой от своей среды отрешился и с точки народного духа ее в Онегине великим судом судил. Ведь это пророк и провозвестник. Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть и оторвешься, так все-таки назад воротиться. Ведь не с неба же, в самом деле, свалилось к нам славянофильство, и хоть оно и сформировалось впоследствии в московскую затею, но ведь основание этой затеи пошире московской формулы и, может быть, гораздо глубже залегает в иных сердцах, чем оно кажется с первого взгляда. Да и у московскихто, может быть, пошире их формулы залегает. Уж как трудно с первого раза даже перед самим собой ясно высказаться. Иная живучая, сильная мысль в три поколения не выяснится, так что финал выходит иногда совсем не похож на начало..." И вот все-то эти праздные мысли поневоле осаждали меня перед Европой в вагоне, отчасти, впрочем, от скуки и от нечего делать. Ведь надо же быть откровенным! До сих пор у нас о таких предметах только те, которым нечего делать, задумываются. Ах, как скучно праздно в вагоне сидеть, ну вот точь-в-точь так же, как скучно у нас на Руси без своего дела жить. Хоть и везут тебя, хоть и заботятся о тебе, хоть подчас даже так убаюкают, что, кажется бы, и желать больше нечего, а все-таки тоска, тоска и именно потому, что сам ничего не делаешь, потому что уж слишком о тебе заботятся, а ты сиди да жди, когда еще довезут. Право, иной раз так бы и выскочил из вагона да сбоку подле машины на своих ногах побежал. Пусть выйдет хуже, пусть с непривычки устану, собьюсь, нужды нет! Зато сам, своими ногами иду, зато себе дело нашел и сам его делаю, зато если случится, что столкнутся вагоны и полетят вверх ногами, так уж не буду сложа руки запертый сидеть, своими боками за чужую вину отвечать... Бог знает что иногда на безделье вздумается! А между тем уж смеркалось. В вагонах стали зажигать огни. Напротив меня помещались муж и жена, уже пожилые, помещики, и, кажется, хорошие люди. Они спешили на выставку в Лондон и всего-то на несколько дней, а дома оставили семейство. Справа подле меня находился один русский, проживавший сряду десять лет в Лондоне по коммерческим делам в конторе, только на две недели приехавший теперь по делам в Петербург и, кажется, совершенно потерявший понятие о тоске по родине. Слева сидел чистый, кровный англичанин, рыжий, с английским пробором на голове и усиленно серьезный. Он во всю дорогу не сказал ни с кем из нас ни одного самого маленького словечка ни на каком языке, днем читал, не отрываясь, какую-то книжку той мельчайшей английской печати, которую только могут переносить англичане да еще похваливать за удобство, и, как только стало десять часов вечера, немедленно снял свои сапоги и надел туфли. Вероятно, это так заведено у него было всю жизнь, и менять своих привычек он не хотел и в вагоне. Скоро все задремали; свист и постукивание машины нагоняли какую-то неотразимую дремоту. Я сидел, думал-думал и, уж не знаю как, додумался до того, что "рассудка француз не имеет", чем и начал эту главу. А знаете ли что: меня что-то подмывает, покамест доберемся мы до Парижа, сообщить вам мои вагонные размышления, так, во имя гуманности:

ведь было же мне скучно в вагоне, ну так пусть теперь будет скучно и вам. Впрочем, других читателей надобно выгородить, а для этого включу-ка я все эти размышления нарочно в особую главу и назову ее лишней. Вы-то над ней поскучайте, а другие, как лишнюю, могут и выкинуть. С читателем нужно обращаться осторожно и совестливо, ну а с друзьями можно и покороче.

Итак: Глава III и совершенно лишняя Это, впрочем, были не размышления, а так, какие-то созерцания, произвольные представления, даже мечтания "о том, о сем, а больше ни о чем". Во-первых, я заехал в старину и раздумался прежде всего о человеке, сотворившем вышеприведенный афоризм о французском рассудке, так, ни с того ни с сего раздумался, именно по поводу афоризма. Этот человек по своему времени был большой либерал. Но хоть и таскал он всю жизнь на себе неизвестно зачем французский кафтан, пудру и шпажонку сзади, для означения рыцарского своего происхождения (которого у нас совсем и не было) и для защиты своей личной чести в передней у Потемкина, но только что высунул свой нос за границу, как и пошел отмаливаться от Парижа всеми библейскими текстами и решил, что "рассудка француз не имеет", да еще и иметь-то его почел бы за величайшее для себя несчастье. Кстати, уж не думаете ли вы, что я заговорил о шпажонке и бархатном кафтане в укор Фонвизину? Ничуть не бывало! Не зипун же было ему надевать на себя, да еще в то время, когда и теперь иные господа, чтобы быть русскими и слиться с народом, не надели таки зипуна, а изобрели себе балетный костюм, немного не тот самый, в котором обыкновенно выходят на сцену в русских народных операх Услады, влюбленные в своих Людмил, носящих кокошники. Нет уж, по крайней мере французский кафтан был тогда народу понятнее: "Барина, дескать, видно, не в зипуне ж ходить барину". Слышал я недавно, что какой-то современный помещик, чтоб слиться с народом, тоже стал носить русский костюм и повадился было в нем на сходки ходить; так крестьяне, как завидят его, так и говорят промеж себя: "Чего к нам этот ряженный таскается?" Да так ведь и не слился с народом помещик-то. — Нет, уж я, — сказал мне другой господин, — нет, уж я ничего не уступаю. Нарочно буду бороду брить, а коли надо, так и во фраке ходить. Дело-то я буду делать, а и виду не покажу, что сходиться хочу. Буду хозяином, буду скупым и расчетливым, даже прижималой или вымогалой буду, если понадобится. Больше уважать будут. А ведь все главное в том и состоит, чтоб сначала настоящего уважения добиться. "Фу ты черт! — подумал я, — точно на иноплеменников каких собираются. Военный совет — да и только". — Да, — сказал мне третий, впрочем премилейший господин, — я вот куда-нибудь припишусь, а меня вдруг на сходке мирским приговором за что-нибудь высечь приговорят. Ну что тогда будет? "А хошь бы и так, — захотелось мне вдруг сказать, да и не сказал я, потому что струсил. (Что это, отчего это мы подчас до сих пор трусим иные наши мысли высказывать?) Хошь бы и так, — думалось мне про себя, — хошь и высекли бы, что ж? Такие обороты дела называются у профессоров эстетики трагическим в жизни, и больше ничего. Неужели ж из-за этого только особняком от всех жить? Нет, уж коль все, так уж и совсем со всеми, а особняком, так уж и совсем особняком. В других местах и не то выносили, да еще слабые жены и дети". — Да помилуйте, какие тут жены и дети! — закричал бы мне мой противник, — выдрал бы мир ни с того ни с сего, за корову какую-нибудь, что в огород чужой затесалась, а у вас уж это и общее дело. — Ну да, оно, конечно, смешно, да и дело-то само смешное, грязное такое, рук марать не хочется. Даже и говорить-то об нем неприлично. Провались они все: пусть их всех стегают, ведь не меня же. А я вот, с своей стороны, чем хотите готов отвечать за мирской приговор: ни одной-таки розочки не досталось бы моему милейшему спорщику, если б даже

и возможно было с ним распорядиться по мирскому приговору: "С него деньгами штраф возьмем, братцы, потому и дело это у него благородное. Не привычен. Вот, у нашего брата так на то и сиденье, чтоб его стегать", — порешил бы мир словами старосты в одном из губернских очерков Щедрина... — Ретроградство! — закричит кто-нибудь, прочтя это. — За розги стоять! (Ей богу, кто-нибудь из этого выведет, что я за розги стою.) — Да помилуйте, про что вы говорите, — сюжет другой. — Вы про Париж хотели, да на розги съехали. Где же тут Париж? — Да что же это, — прибавит третий, — обо всем этом вы сами пишете, что слышали недавно, а путешествовали летом. Как же вы могли обо всем этом в вагоне тогда еще думать? — Вот это так действительно задача, — отвечаю я, — но позвольте: ведь это зимние воспоминания о летних впечатлениях. Так уж к зимним и примешалось зимнее. Притом же, подъезжая к Эйдкунену, я помню, особенно раздумался я про все наше отечественное, которое покидал для Европы, и помню, что иные мечтания мои были в этом же духе. Я именно размышлял на тему о том: каким образом на нас в разное время отражалась Европа — и постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались, и сколько именно нас счетом до сих пор отцивилизовалось? Теперь я сам вижу, что все это тут как бы лишнее. Да я же вас и предупредил, что вся глава лишняя. А впрочем, на чем я остановился? Да! на французском кафтане. С него и началось! Ну так вот, один из этих французских кафтанов и написал тогда "Бригадира". "Бригадир" был по-тогдашнему вещь удивительная и произвел чрезвычайный эффект. "Умри, Денис, лучше ничего не напишешь", — говорил сам Потемкин. Все как бы спросонья зашевелились. Что ж, неужели ж и тогда, — продолжал я свои произвольные созерцания, — уж наскучило людям ничего не делать и ходить на чужих помочах? Я не об одних тогдашних французских помочах говорю и хочу кстати прибавить, что мы чрезвычайно легковверная нация и что все это у нас от нашего добродушия. Сидим мы, например, все без дела, и вдруг нам покажется, что кто-то что-то сказал, что-то сделал, что у нас собственным духом запахло, что дело нашлось, вот мы так все и накинемся непременно уверены, что сейчас начинается. Муха пролетит, а мы уж думаем, что самого слона провели. Неопытность юности, ну и голодуха к тому же. Это у нас чуть не раньше "Бригадира" еще началось, конечно, тогда еще в микроскопическом размере, и неизменно до сих пор продолжается: нашли дело и визжим от восторга. Увизжаться и провраться от восторга — это у нас самое первое дело; смотришь, года через два и расходимся врозь, повесив носы. И ведь не устаем, хоть еще сто раз начинай. Что же касается до других помочей, то в фонвизинское время в массе-то почти ведь никто не сомневался, что это были самые святые, самые европейские помочи и самая милая опека. Конечно, и теперь мало сомневающихся. Вся наша крайне прогрессивная партия до ярости стоит за чужие помочи. Но тогда, о, тогда было время такой веры во всякие помочи, что удивительно, как это мы горы тогда не сдвигали с места и как это все эти наши алаунские плоские возвышенности, парголовские вершины, валдайские пики стоят еще на своих местах. Правда, упоминал один тогдашний поэт про одного героя, что Ляжет на горы, горы трещат и что Башни рукою за облак бросает. Но, кажется, это была только метафора. Кстати, господа: я ведь только об одной литературе теперь говорю, и именно об изящной литературе. По ней я проследить хочу постепенное и благотворное влияние Европы на наше отечество. То есть какие тогда (до "Бригадира" и в его время) издавались и читались книжки, так это представить себе нельзя без некоторого радостного высокомерия с нашей стороны! Есть у нас теперь один замечательнейший писатель, краса нашего времени, некто Козьма Прутков. Весь недостаток его состоит в непостижимой

скромности: до сих пор не издал еще полного собрания своих сочинений. Ну так вот, раз напечатал он в смеси в "Современнике" очень давно уже "Записки моего деда". Вообразите, что мог записать тогда этот дебелый, семидесятилетний, екатерининский дед, выдавший виды, бывавший на куртагах и под Очаковым, воротившись в свою вотчину и принявшись за свои воспоминания. То-то, должно быть, интересно было записать. Чего-чего не перевидал человек! Ну так вот у него все состоит из следующих анекдотов: "Остроумный ответ кавалера де Монбазона. Некогда одна молодая и весьма пригожая девица кавалера де Монбазона в присутствии короля хладнокровно спрашивала: „Государь мой, что к чему привешено, собака к хвосту или хвост к собаке?“ На что сей кавалер, будучи в отповедях весьма искусен, нисколько не смятенным, но, напротив, постоянным голосом отвечивал: „Никому, сударыня, собаку за хвост, как и за голову, взять невозбранно“. Сей ответ оному королю большое удовольствие причинивши, и кавалер тот не без награды за него остался". Вы думаете, что это надувание, вздор, что никогда такого деда и на свете не было. Но клянусь вам, что я сам лично в детстве моем, когда мне было десять лет от роду, читал одну книжку екатерининского времени, в которой и прочел следующий анекдот. Я тогда же его затвердил наизусть — так он приманил меня — и с тех пор не забыл: "Остроумный ответ кавалера де Рогана. Известно, что у кавалера де Рогана весьма дурно изо рта пахло. Однажды, присутствуя при пробуждении принца де Конде, сей последний сказал ему: „Отстранитесь, кавалер де Роган, ибо от вас весьма дурно пахнет“. На что сей кавалер немедленно отвечивал: „Это не от меня, всемилостивейший принц, а от вас, ибо вы только что встаете с постели"". То есть вообразите только себе этого помещика, старого воина, пожалуй еще без руки, со старухой помещицей, с сотней дворни, с детьми Митрофанушками, ходящего по субботам в баню и парящегося до самозабвения; и вот он, в очках на носу, важно и торжественно читает по складам подобные анекдоты, да еще принимает вс? за самую настоящую суть, чуть-чуть не за обязанность по службе. И что за наивная тогдашняя вера в цельность и необходимость подобных европейских известий. "Известно, дескать, что у кавалера де Рогана весьма дурно изо рта пахло"... Кому известно, зачем известно, каким медведям в Тамбовской губернии это известно? Да кто еще и знать-то про это захочет? Но подобные вольнодумные вопросы деда не смущают. С самой детской верой соображает он, что сие "собрание острых слов" при дворе известно, и довольно с него. Да, конечно, тогда нам легко давалась Европа, физически, разумеется. Нравственно-то, конечно, обходилось не без плетей. Напяливали шелковые чулки, парики, привешивали шпажки — вот и европеец. И не только не мешало все это, но даже нравилось. На деле же все оставалось по-прежнему: так же отложив де Рогана (о котором, впрочем, только всего и знали, что у него весьма дурно изо рта пахло) в сторону и сняв очки, расправлялись с своей дворней, так же патриархально обходились с семейством, так же драли на конюшне мелкопоместного соседа, если струбит, так же подличали перед высшим лицом. Даже мужику были понятнее: меньше его презирали, меньше его обычаем брезгали, больше знали о нем, меньше чужими были ему, меньше немцами. А что важничали перед ним, так как же барину не поважничать, — на то барин. Хоть и до смерти засекали, а все-таки были народу как-то милее теперешних, потому что были больше свои. Одним словом, все эти господа были народ простой, кряжевой; до корней не доискивались, брали, драли, крали, спины гнули с умилением, и мирно и жирно проживали свой век "в добросовестном ребяческом разврате". Мне даже сдается, что все эти деды были вовсе не так и наивны, даже в отношении де Роганов и Монбазонов. Даже, может, и пребольшие подчас были плуты и себе на уме в

отношении ко всем тогдашним европейским влияниям сверху. Вся эта фантазмагория, весь этот маскарад, все эти французские кафтаны, манжеты, парики, шпажонки, все эти дебелие, неуклюжие ноги, влезавшие в шелковые чулки; эти тогдашние солдатики в немецких париках и штиблетах — все это, мне кажется, были ужасные плутни, подобострастно-лакейское надувание снизу, так что даже сам народ иной раз это замечал и понимал. Конечно, можно быть и подьячим, и плутом, и бригадиром и в то же время пренаивно и трогательно быть уверену, что кавалер де Роган и есть самый "субдительный суперфлю". Но ведь это ничему не мешало: Гвоздиловы гвоздили по-прежнему, наших де Роганов наш Потемкин и всякий подобный ему чуть не секли у себя на конюшне, Монбазоны драли с живого и с мертвого, кулаками в манжетах и ногами в шелковых чулках давались подзатыльники и подспинники, а маркизы валялись на куртагах, Отважно жертвуя затылком. Одним словом, вся эта заказная и приказанная Европа удивительно как удобно уживалась у нас тогда, начиная с Петербурга — самого фантастического города, с самой фантастической историей из всех городов земного шара. Ну теперь уж не то, и Петербург взял свое. Теперь уж мы вполне европейцы и доросли. Теперь уж сам Гвоздилов сноровку держит, когда гвоздить приходится, приличие наблюдает, французским буржуа делается, а еще немного пройдет, и, как североамериканец Южных штатов, текстами начнет защищать необходимость торговли неграми. Впрочем, защита текстами из американских штатов сильно и в Европу теперь переходит. Вот приеду туда — сам своими глазами увижу, — думал я. Никогда из книг не научишься тому, что своими глазами увидишь. А кстати, по поводу Гвоздилова: почему именно не Софье, представительнице благородного и гуманно-европейского развития в комедии, вложил Фонвизин одну из замечательнейших фраз в своем "Бригадире", а дуре бригадирше, которую уж он до того подделывал душой, да еще не простой, а ретроградной душой, что все нитки наружу вышли и все глупости, которые она говорит, точно не она говорит, а кто-то другой, спрятавшийся сзади? А когда надо было правду сказать, ее все-таки сказала не Софья, а бригадирша. Ведь он ее не только круглой душой, даже и дурной женщиной сделал; а все-таки как будто побоялся и даже художественно-невозможным почел, чтоб такая фраза из уст благовоспитанной по-оранжерейному Софьи выскочила, и почел как бы натуральнее, чтоб ее изрекла простая, глупая баба. Вот это место, его стоит вспомнить. Это чрезвычайно любопытно и именно тем, что написано безо всякого намерения и заднего слова, наивно и даже, может быть, нечаянно. Бригадирша говорит Софье: "... У нас был нашего полку первой роты капитан, по прозванию Гвоздилов; жена у него была такая изрядная-изрядная молодка. Так, бывало, он рассерчает за что-нибудь, а больше хмельной; так веришь ли богу, мать моя, что гвоздит он, гвоздит ее, бывало, в чем душа останется, а ни дай, ни вынеси за што. Ну мы, наша сторона дело, а ино наплачешься, на нее глядя. С о ф ь я. Пожалуйста, сударыня, перестаньте рассказывать о том, что возмущает человечество. Б р и г а д и р ш а. Вот, матушка, ты и слушать об этом не хочешь, каково ж было терпеть капитанше?" Таким-то образом и сбрендил благовоспитанная Софья с своей оранжерейной чувствительностью перед простой бабой. Это удивительное репарти (сиречь отповедь) у Фонвизина, и нет ничего у него метче, гуманнее и... нечаяннее. И сколько у нас до сих пор таких оранжерейных прогрессистов из самых передовых наших деятелей, которые чрезвычайно довольны своей оранжерейностью и ничего не требуют большего. Но замечательнее всего, что Гвоздилов до сих пор еще гвоздит свою капитаншу, и чуть ли еще не с большим комфортом, чем прежде. Право, так. Говорят, прежде это более по душе, по сердцу делалось! Кого люблю, того, дескать, и бью. Даже жены, говорят, беспокоились, если их не били: не бьет,

значит, не любит. Но это все первобытное, стихийное, родовое. Теперь уж и это подверглось развитию. Теперь уж Гвоздилов гвоздит чуть не из принципа, да и то потому, что все еще дурак, то есть человек старого времени, новых порядков не знает. По новым порядкам и без кулачной расправы можно еще лучше распорядиться. Я потому распространяюсь теперь о Гвоздилове, что о нем до сих пор у нас пишут преглубокие и прегуманные фразы. И столько пишут, что даже публике надоели. Гвоздилов у нас до того живуч, несмотря на все статьи, что чуть не бессмертен. Да-с, он жив и здоров, сыт и пьян. Теперь он без руки и без ноги и, как капитан Копейкин, "в некотором смысле кровь проливал". Жена его уж давно не "изрядная-изрядная молодка", как прежде была. Она постарела, лицо ее осунулось и побледнело, морщины и страдания избороздили его. Но когда ее муж и капитан лежал больной, без руки, она от постели его не отходила, бессонные ночи над ним просиживала, утешала его, горючими слезами по нем обливалась, своим милым, своим добрым молодцем, своим ясным соколом его называла, удалой солдатской головушкой величала. Пусть это возмущает душу, с одной стороны, пусть! пусть! Но, с другой стороны: да здравствует русская женщина, и нет ничего лучше ее безгранично прощающей любви на нашем русском свете. Ведь так, не правда ли? Тем более что и Гвоздилов-то теперь, в трезвом виде, иногда и не бьет жену, то есть пореже, приличие наблюдает, даже ласковое слово ей подчас скажет. Он ведь почувствовал в старости, что без нее обойтись не может; он расчетлив, он буржуа, а если бьет и теперь когда, так разве только под пьяную руку да по старой привычке, когда уж очень стоскуется. Ну, а ведь как хотите, это прогресс, все-таки утешение. Мы же такие охотники до утешений... Да-с, мы теперь совершенно утешились, сами собою утешились. Пусть все вокруг нас и теперь еще не очень красиво; зато сами мы до того прекрасны, до того цивилизованы, до того европейцы, что даже народу стошнило, на нас глядя. Теперь уж народ нас совсем за иностранцев считает, ни одного слова нашего, ни одной книги нашей, ни одной мысли нашей не понимает, — а ведь это, как хотите, прогресс. Теперь уж мы до того глубоко презираем народ и начала народные, что даже относимся к нему с какою-то новою, небывалою брезгливостью, которой не было даже во времена наших Монбазонов и де Роганов, а ведь это, как хотите прогресс. Зато как же мы теперь самоуверенны в своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы, да еще какие вопросы-то: почвы нет, народа нет, национальность — это только известная система податей, душа — *tabula rasa*, вошечек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общечеловека всемирного, гомункула — стоит только приложить плоды европейской цивилизации да прочесть две-три книжки. Зато как мы спокойны, величаво спокойны теперь, потому что ни в чем не сомневаемся и все разрешили и подписали. С каким спокойным самодовольствием мы отхлестали, например, Тургенева за то, что он осмелился не успокоиться с нами и не удовлетвориться нашими величавыми личностями и отказался принять их за свой идеал, а искал чего-то получше, чем мы. Лучше, чем мы, господи помилуй! Да что же нас краше и безошибочнее в подсолнечной? Ну и досталось же ему за Базарова, беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм. Даже отхлестали мы его и за Кукшину, за эту прогрессивную вошь, которую вычесал Тургенев из русской действительности нам на показ, да еще прибавили, что он идет против эманципации женщины. А ведь это все прогресс, как хотите! Теперь мы с такою капральскою самоуверенностью, такими фельдфебелями цивилизации стоим над народом, что любо-дорого посмотреть: руки в боки, взгляд с задором, смотрим фертом, — смотрим да только поплеываем: "Чему у тебя,

сипа-мужик, нам учиться, когда вся национальность-то, вся народность-то, в сущности, одно ретроградство да раскладка податей, и ничего больше!" Не спускать же предрассудкам, помилуйте! Ах боже мой, кстати теперь... Господа, положим на минутку, что я, уж кончил мое путешествие и воротился в Россию. Позвольте рассказать анекдот. Раз, нынешней осенью, беру я одну газету из прогрессивнейших. Смотрю: известие из Москвы. Рубрика: "Еще остатки варварства" (или что-то в этом роде, только очень сильное. Жаль только, что теперь газеты перед глазами нет). И вот рассказывается анекдот, как однажды, нынешней же осенью, в Москве, поутру, усмотрены были дрожки; на дрожках сидела пьяная сваха, разодетая в ленты, и пела песню. Кучер тоже был в каких-то бантах и тоже пьян, тоже мурлыкал какую-то песню! Даже лошадь была в бантах. Не знаю только, пьяна или нет? верно, пьяна. В руках у свахи был узелок, который она везла напоказ от некоторых новобрачных, очевидно, проводивших счастливую ночь. В узелке, разумеется, заключалась некоторая легкая одежда, которую в простонародье обыкновенно на другой же день показывают родителям невесты. Народ смеялся, смотря на сваху: предмет игривый. Газета с негодованием, с форсом, поплеывая, передавала об этом неслыханном варварстве, "даже до сих пор сохранившемся, при всех успехах цивилизации!" Господа, признаюсь вам, я расхохотался ужасно. О, пожалуйста, не думайте, что я защищаю первобытное каннибальство, легкие одежды, покровы и проч. Это скверно, это нецеломудренно, это дико, это по-славянски, знаю, согласен, хотя все это сделалось, конечно, без худого намерения, а напротив, с целью торжества новобрачной, в простоте души, от незнания лучшего, высшего, европейского. Нет, я другому засмеялся. А именно: вспомнились мне вдруг наши барыни и модные магазины наши. Конечно, цивилизованные дамы уже не отсылают теперь легких покровов к родителям, но когда, например, придется заказывать модистке платье, с каким тактом, с каким тонким расчетом и знанием дела они умеют подложить вату в известные места своей очаровательной европейской одежды! Для чего вату? Разумеется, для изящества, для эстетики, pour paraître... [3] Мало того: их дочери, эти невинные, семнадцатилетние создания, едва покинувшие пансион, и те знают про вату, вс? знают: и к чему служит вата, и где именно, в какие частях нужно употребить эту вату, и зачем, с какой то есть именно целью все это употребляется... Ну что ж, подумал я со смехом, эти хлопоты, эти заботы, сознательные заботы о ватных приумножениях, — что же, чище, нравственнее, целомудреннее, что ли, они несчастной легкой одежды, везомой с простодушной уверенностью к родителям, с уверенностью, что так именно надобно, так именно нравственно!.. Ради бога, не думайте, друзья мои, что я теперь вдруг хочу пуститься в рацею о том, что цивилизация — не развитие, а, напротив, в последнее время в Европе всегда стояла с кнутом и тюрьмой над всяким развитием! Не думайте, что я стану доказывать, что у нас варварски смешивают цивилизацию и законы нормального, истинного развития, доказывать, что цивилизация уже осуждена давно на самом Западе и что за нее стоит только там один собственник (хотя там все собственники или хотят быть собственниками), чтоб спасти свои деньги. Не думайте, что я стану доказывать, что душа человеческая не *tabula rasa*, не вошичек, из которого можно слепить общечеловечка; что прежде всего нужна натура, потом наука, потом жизнь самостоятельная, почвенная, нестесненная, и вера в свои собственные, национальные силы. Не думайте, что я скажу вам, будто не знаю, что наши прогрессисты (хотя и далеко не все) вовсе не стоят за вату и так же точно клеймят ее, как и легкие покровы. Нет, я только одно хочу теперь сказать: в статье ведь неспроста осуждали и проклинали покровы, не просто говорили, что это

варварство, а очевидно изобличали простонародное, национальное, стихийное варварство, в противоположность европейской цивилизации нашего высшего благородного общества. Статья куражилась, статья как бы знать не хотела, что у самих обличителей-то, может быть, в тысячу раз гаже и хуже, что мы только променяли одни предрассудки и мерзости на другие еще большие предрассудки и мерзости. Статья как будто не замечала этих наших-то, собственных-то предрассудков и мерзостей. К чему же, к чему же таким фертом стоять над народом, руки в боки да поплеывая!.. Ведь смешна, смешна уморительно эта вера в непогрешимость и в право такого обличения. Вера это или просто кураж над народом, или, наконец, нерассуждающее, рабское преклонение именно перед европейскими формами цивилизации; так ведь это еще смешнее. Да что! ведь таких фактов тысяча каждодневно найдется. Простите за анекдот. А, впрочем, что же я грешу. Ведь я грешу! Это оттого, что я слишком скоро от дедов к внукам перепрыгнул. Были и промежутки. Вспомните Чацкого. Это и не наивно-плутоватый дед, это и не самодовольный потомок, фертом стоящий и все порешивший. Чацкий — это совершенно особый тип нашей русской Европы, это тип милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России, и к почве, а между тем все-таки уехавший опять в Европу когда надо было сыскать, где оскорбленному есть чувству уголок... — одним словом, тип совершенно бесполезный теперь и бывший ужасно полезным когда-то. Это фразер, говорун, но сердечный фразер и совестливо тоскующий о своей бесполезности. Он теперь в новом поколении переродился, и мы верим в юные силы, мы верим, что он явится скоро опять, но уже не в истерике, как на бале Фамусова, а победителем, гордым, могучим, кротким и любящим. Он созн`ает, кроме того, к тому времени, что уголок для оскорбленного чувства не в Европе, а, может быть, под носом, и найдет, что делать, и станет делать. И знаете ли что: я вот уверен, что не вс? и теперь у нас одни только фельдфебеля цивилизации и европейские самодуры; я уверен, я стою за то, что юный человек уже родился... но об этом после. А мне хочется сказать еще два слова о Чацком. Не понимаю я только одного: ведь Чацкий был человек очень умный. Как это умный человек не нашел себе дела? Они все ведь не нашли дела, не находили два-три поколения сряду. Это факт, против факта и говорить бы, кажется, нечего, но спросить из любопытства можно. Так вот не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы ни было обстоятельствах, не мог найти себе дела. Этот пункт, говорят, спорный, но в глубине моего сердца я ему вовсе не верю. На то и ум, чтоб достичь того, чего хочешь. Нельзя версты пройти, так пройди только сто шагов, все же лучше, все ближе к цели, если к цели идешь. И если хочешь непременно одним шагом до цели дойти, так ведь это, по-моему, вовсе не ум. Это даже называется белоручничеством. Трудом мы не любим, по одному шагу шагать не привычны, а лучше прямо одним шагом перелететь до цели или попасть в Регулы. Ну вот это-то и есть белоручничанье. Однако ж Чацкий очень хорошо сделал, что улизнул тогда опять за границу: промешкал бы маленько — и отправился бы на восток, а не на запад. Любят у нас Запад, любят, и в крайнем случае, как дойдет до точки, все туда едут. Ну вот и я туда еду. "Mais moi c'est autre chose?". [4] Я видел их там всех, то есть очень многих, а всех и не пересчитаешь, и все-то они, кажется, ищут уголка для оскорбленного чувства. По крайней мере, чего-то ищут. Поколение Чацких обоого пола после бала у Фамусова, и вообще когда был кончен бал, размножилось там, подобно песку морскому, и даже не одних Чацких: ведь из Москвы туда они все доехали. Сколько там теперь Репетиловых, сколько Скалозубов, уже выслужившихся и отправленных к водам за негодностью. Наталья Дмитриевна с мужем там неперемный член. Даже графиню Хлестову каждый год туда возят.

Даже и Москва всем этим господам надоела. Одного Молчалина нет: он распорядился иначе и остался дома, он один только и остался дома. Он посвятил себя отечеству, так сказать, родине... Теперь до него и рукой не достанешь; Фамусова он и в переднюю теперь к себе не пустит:

"Деревенские, дескать, соседи: в городе с ними не кланяются". Он при делах и нашел себе дело. Он в Петербурге и... и успел. "Он знает Русь, и Русь его знает". Да, уж его-то крепко знает и долго не забудет. Он даже и не молчит теперь, напротив, только он и говорит. Ему и книги в руки... Но что об нем. Я заговорил об них об всех, что ищут отрадного уголка в Европе, и, право, я думал, что им там лучше. А между тем на их лицах такая тоска... Бедненькие! И что за всегдашнее в них беспокойство, что за болезненная, тоскливая подвижность! Все они ходят с гидами и жадно бросаются в каждом городе смотреть редкости и, право, точно по обязанности, точно службу продолжают отечественную: не пропустят ни одного дворца о трех окнах, если только он означен в гиде, ни одного бургомистерского дома, чрезвычайно похожего на самый обыкновенный московский или петербургский дом; глазают на говядину Рубенса и верят, что это три грации, потому что так велено верить по гиду; бросаются на Сикстинскую мадонну стоят перед ней с тупым ожиданием: вот-вот случится что-то, кто-нибудь вылезет из-под пола и рассеет их беспредметную тоску и усталость. И отходят удивленные, что ничего не случилось. Это не самодовольное и совершенно машинальное любопытство английских туристов и туристок, смотрящих более в свой гид, чем на редкости, ничего не ожидающих, ни нового, ни удивительного, и проверяющих только: так ли в гиде означено и сколько именно футов или фунтов в предмете? Нет, наше любопытство какое-то дикое, нервное, крепко-жаждущее, а про себя заранее убежденное, что ничего никогда не случится, разумеется до первой мухи; пролетела муха, — значит, опять сейчас начинается... Я ведь только про умных людей теперь говорю. Про других же заботиться нечего: их всегда бог хранит. И не про тех тоже, которые окончательно там поселились, забывают свой язык и начинают слушать католических патеров. Впрочем, про всю массу можно вот что сказать: как только все мы переваливаем за Эйдкунен тотчас же становимся разительно похожи на тех маленьких несчастных собачек, которые бегают, потерявши своего хозяина. Да вы что думаете, что я с насмешкой пишу, виню кого-нибудь, что вот-де "в настоящее время, когда и т.д., а вы за границей! крестьянский вопрос идет, а вы за границей!" и т.д. и т.д. О ничуть и нисколько. Да я-то кто такой, чтоб винить? За что винить, кого винить? "И рады делу, да дела нет, а что есть, так и без нас делается. Места заняты, вакансии не предвидится. Охота совать свой нос, где его не спрашивают". Вот и отговорка, и вся недолга. Отговорку-то мы наизусть знаем. Но что это? Куда я заехал? Где ж это я успел перевидать за границу русских? Ведь мы только к Эйдкунену подъезжаем... Аль уж проехали? И вправду, и Берлин, и Дрезден, и Кельн — все проехали. Я правда, все еще в вагоне, но уж перед нами не Эйдкунен, а Аркелин, и мы въезжаем во Францию. Париж-то, Париж-то, я о нем хотел говорить, да и забыл! Уж очень про нашу русскую Европу раздумался; простительное дело, когда сам в европейскую Европу в гости едешь. А впрочем, что ж уж очень-то прощения просить. Ведь моя глава лишняя. Глава IV и не лишняя для путешественников. Окончательное решение вопроса о том: действительно ли "рассудка француз не имеет"? Но нет, однако, почему же рассудка француз не имеет, спрашивал я себя, рассматривая четырех новых пассажиров, французов, только что вошедших в наш вагон. Это были первые французы, которых я встретил на их родной почве, если не считать таможенных в Аркелине, откуда мы только что тронулись. Таможенные были чрезвычайно

вежливы, свое дело сделали скоро, и я вошел в вагон, очень довольный первым шагом моим во Франции. До Аркелина, в восьмиместном отделении нашем, нас помещалось всего только двое, я и один швейцарец, простой и скромный человек, средних лет, чрезвычайно приятный собеседник, с которым мы часа два проболтали без умолку. Теперь же нас было шестеро, и, к удивлению моему, мой швейцарец, при новых четырех спутниках наших, вдруг сделался чрезвычайно несловоохотлив. Я было обратился к нему с продолжением прежнего разговора, но он видимо поспешил замять его, отвечал что-то уклончиво, сухо, чуть не с досадой, отворотился к окну и начал рассматривать виды, а через минуту вытащил свой немецкий гид и совершенно углубился в него. Я тотчас же его и оставил и молча занялся нашими новыми спутниками. Это был какой-то странный народ. Ехали они налегке и вовсе не походили на путешественников. Ни узелка, ни даже платья, которое бы сколько-нибудь напоминало человека дорожного. Все они были в каких-то легоньких скюртучках, страшно потертых и изношенных, немного лучше тех, какие носят у нас офицерские денщики или дворовые люди в деревнях у среднего рода помещиков. Белье было на всех грязное, галстуки очень ярких цветов и тоже очень грязные; на одном из них был намотан остаток шелкового платка из таких, которые вечно носят и пропитываются целым фунтом жира после пятнадцатилетнего соприкосновения с шеей носителя. У этого же носителя были еще какие-то запонки с фальшивыми брильянтами в орех величиною. Впрочем, держали они себя с каким-то шиком, даже молодцевато. Все четверо казались одних и тех же лет, тридцати пяти или около, и, не будучи сходны лицом, были чрезвычайно похожи один на другого. Лица их были помятые, с казенными французскими бородками, тоже очень похожими одна на другую. Видно было, что это народ, прошедший сквозь разные трубы и усвоивший себе навеки хоть и кислое, но чрезвычайно деловое выражение лица. Показалось мне тоже, что они были знакомы друг с другом, но не помню, сказали ль хоть одно слово между собою. На нас, то есть на меня и на швейцарца, они как-то, видимо, не хотели смотреть и, небрежно посвистывая, небрежно усевшись на местах, равнодушно, но упорно поглядывали в окна кареты. Я закурил папиросу и от нечего делать их разглядывал. У меня, правда, мелькал вопрос: что ж это в самом деле за народ? Работники не работники, буржуа не буржуа. Неужели ж отставные военные, что-нибудь а la demisoldat [5] или в этом роде? Впрочем, я как-то не очень ими заботился. Через десять минут, только что мы подъехали к следующей станции, они все четверо один за другим тотчас же выскочили из вагона, дверца захлопнулась, и мы полетели. На этой дороге почти не ждут на станциях: минуты две, много три — и уже летят далее. Везут прекрасно, то есть чрезвычайно быстро. Только что мы остались одни, швейцарец мигом захлопнул свой гид, отложил его в сторону и с довольным видом посмотрел на меня, с видимым желанием продолжать разговор. — Эти господа недолго посидели, — начал я, с любопытством смотря на него. — Да ведь они только на одну станцию и сажались. — Вы их знаете? — Их?... но ведь это полицейские... — Как? какие полицейские? — спросил я с удивлением. — То-то... я ведь тотчас же заметил давеча, что вы не догадываетесь. — И... неужель шпионы? (я все еще не хотел верить). — Ну да; для нас и сажались. — Вы наверно это знаете? — О, это без сомнения! Я уж несколько раз здесь проезжал. Нас указали им еще в таможне, когда читали наши паспорта, сообщили им наши имена и проч. Ну вот они и сели, чтобы нас проводить. — Да зачем же, однако ж, провожать, коль они нас уж видели? Ведь вы говорите, им нас еще на той станции указали? — Ну да, и сообщили им наши имена. Но этого мало. Теперь же они нас изучили в подробности: лицо, костюм, саквояж, одним словом, все, чем вы смотрите. Запонки ваши

приметили. Вот вы сигарочницу вынимали, ну и сигарочницу заметили, знаете, всякие мелочи, особенности, то есть как можно больше особенностей. Вы в Париже могли бы потеряться, имя переменить (то есть если вы подозрительный). Ну, так эти мелочи могут способствовать розыску. Все это с той же станции сейчас же и телеграфируется в Париж. Там и сохраняется на всякий случай, где следует. К тому же содержатели отелей должны сообщать все подробности об иностранцах, тоже до мелочи. — Но зачем же их столько было, ведь их было четверо, — продолжал я спрашивать, все еще немного озадаченный. — О, их здесь очень много. Вероятно, на этот раз мало иностранцев, а если б больше было, они бы разбились по вагонам. — Да помилуйте, они на нас совсем и не смотрели. Они в окошки смотрели. — О, не беспокойтесь, все рассмотрели... Для нас и сажались. "Ну-ну, — подумал я, — вот те и „рассудка француз не имеет“, — и (признаюсь со стыдом) как-то недоверчиво наклонился на швейцарца: „Да уж и ты, брат, не того ли, а только так прикидываешься“, — мелькнуло у меня в голове, но только на миг, уверяю вас. Нелепо, но что ж будешь делать; невольно подумается... Швейцарец не обманул меня. В отеле, в котором я остановился, немедленно описали все малейшие приметы мои и сообщили их, куда следует. По точности и мелочности, с которой рассматривают вас при описании примет, можно заключить, что и вся дальнейшая ваша жизнь в отеле, так сказать, все ваши шаги скрупулезно наблюдаются и сосчитываются. Впрочем, на первый раз в отеле меня лично не много беспокоили и описали меня втихомолку, кроме, разумеется, тех вопросов, какие задаются вам по книге, и в нее же вы вписываете показания ваши: кто, как, откуда, с какими помыслами? и проч. Но во втором отеле, в котором я остановился, не найдя места в прежнем Hotel Coquilliere после восьмидневной моей отлучки в Лондон, со мной обошлись гораздо откровеннее. Этот второй Hotel des Empereurs смотрел вообще как-то патриархальнее во всех отношениях. Хозяин и хозяйка действительно были очень хорошие люди и чрезвычайно деликатны, уже пожилые супруги, необыкновенно внимательные к своим постояльцам. В тот же день, как я у них стал, хозяйка вечером, поймав меня в сенях, пригласила в комнату, где была контора. Тут же находился и муж, но хозяйка, очевидно, заправляла всем по хозяйству. — Извините, — начала она очень вежливо, — нам надо ваши приметы. — Но ведь я сообщил... паспорт мой у вас. — Так, но... votre etat? [6] Это: "Votre etat?" — чрезвычайно сбивчивая вещь и нигде мне не нравилось. Ну что тут написать? Путешественник — слишком отвлеченно. Homme de lettres? — никакого уважения не будут иметь. — Напишемте лучше propriétaire, [8] как вы думаете? — спросила меня хозяйка. — Это будет лучше всего. — О да, это будет лучше всего, — поддакнул супруг. — Написали. Ну теперь: причина вашего приезда в Париж? — Как путешественник, проездом. — Гм, да, pour voir Paris. [9] Позвольте, мсье: ваш рост? — То есть как это рост? — Какого вы именно росту? — Вы видите, среднего. — Это так, мсье... Но желалось бы знать подробнее... Я думаю, я думаю... — продолжала она в некотором затруднении, советуясь глазами с мужем. — Я думаю, столько-то, — решил муж, определяя мой рост на глазомер в метрах. — Да зачем вам это нужно? — спросил я. — Ох, это необ-хо-димо, — отвечала хозяйка, любезно протянув на слове "необходимо" и все-таки записывая в книгу мой рост. — Теперь, мсье, ваши волосы? Блондин, гм... довольно светлого оттенка... прямые... Она записала и волосы. — Позвольте, мсье, — продолжала она, кладя перо, вставая со стула и подходя ко мне с самым любезным видом, — вот сюда, два шага, к окну. Надо разглядеть цвет ваших глаз. Гм, светлые... И она опять посоветовалась глазами с мужем. Они, видимо, чрезвычайно любили друг друга. — Более серого оттенка, — заметил муж с особенно деловым,

даже озабоченным видом. — Voila, — мигнул он жене, указывая что-то над своею бровью, но я очень хорошо понял, на что он указывал. У меня маленький шрам на лбу, и ему хотелось, чтобы жена заметила и эту особую примету. — Позвольте ж теперь спросить, — сказал я хозяйке, когда кончился весь экзамен, — неужели с вас требуют такой отчетности? — О мсье, это необ-хо-димо!.. — Мсье! — поддакнул муж с каким-то особенно внушительным видом. — Но в Hotel Coquilliere меня не спрашивали. — Не может быть, — живо подхватила хозяйка. — Они за это могли очень ответить. Вероятно, они оглядели вас молча, но только непременно, непременно оглядели. Мы же проще и откровеннее с нашими постояльцами, мы живем с ними как с родными. Вы останетесь довольны нами. Вы увидите... — О мсье!.. — скрепил муж с торжественностью, и даже умиление изобразилось на лице его. И это были пречестные, прелюбезные супруги, насколько, по крайней мере, я их узнал потом. Но слово "необхо-димо" произносилось вовсе не в какомнибудь извинительном или уменьшительном тоне, а именно в смысле полнейшей необходимости и чуть ли не совпадающей с собственными личными их убеждениями. Итак, я в Париже... Глава V. Ваал Итак, я в Париже... Но не думайте, однако, что я вам много расскажу собственно о городе Париже. Я думаю, вы столько уже перечитали о нем по-русски, что, наконец, уж и надоело читать. К тому же вы сами в нем были и, наверное, все лучше меня заметили. Да и терпеть я не мог, за границей, осматривать по гиду, по заказу, по обязанности путешественника, а потому и просмотрел в иных местах такие вещи, что даже стыдно сказать. И в Париже просмотрел. Так и не скажу, что именно просмотрел, но зато вот что скажу: я сделал определение Парижу, прибрал к нему эпитет и стою за этот эпитет. Именно: это самый нравственный и самый добродетельный город на всем земном шаре. Что за порядок! Какое благоразумие, какие определенные и прочно установившиеся отношения; как все обеспечено и разлиновано; как все довольны, как все стараются уверить себя, что довольны и совершенно счастливы, и как все, наконец, до того достарались, что и действительно уверили себя, что довольны и совершенно счастливы, и... и... остановились на этом. Далее и дороги нет. Вы не поверите тому, что остановились на этом; вы закричите, что я преувеличиваю, что это все желчная патриотическая клевета, что не могло же все это остановиться совсем, в самом деле. Но, друзья мои, ведь предупредил же я вас еще в первой главе этих заметок, что, может быть, ужасно навру. Ну и не мешайте мне. Вы знаете тоже наверно, что если я и навру, то навру, будучи убежден, что не вру. А, по-моему, этого уже слишком довольно. Ну так и дайте мне свободу. Да, Париж удивительный город. И что за комфорт, что за всевозможные удобства для тех, которые имеют право на удобства, и опять-таки какой порядок, какое, так сказать, затишье порядка. Я все возвращаюсь к порядку. Право, еще немного, и полуторамиллионный Париж обратится в какой-нибудь окаменелый, в затишье и порядке профессорский немецкий городок, вроде, например, какого-нибудь Гейдельберга. Как-то тянет к тому. И будто не может быть Гейдельберга в колоссальном размере? И какая регламентация! Поймите меня: не столько внешняя регламентация, которая ничтожна (сравнительно, разумеется), а колоссальная внутренняя, духовная, из души происшедшая. Париж суживается, как-то охотно, с любовью умалывается, с умилением ежится. Куды в этом отношении, например, Лондон! Я был в Лондоне всего восемь дней, и, по крайней мере наружно, — какими широкими картинами, какими яркими планами, своеобразными, нерегулированными под одну мерку планами оттушевываясь он в моих воспоминаниях. Все так громадно и резко в своей своеобразности. Даже обмануться можно этой своеобразностью. Каждая резкость, каждое противоречие уживаются рядом с своим антитезом и упрямо

идут рука об руку, противореча друг другу и, по-видимому, никак не исключая друг друга. Все это, кажется, упорно стоит за себя и живет по-своему и, по-видимому, не мешает друг другу. А между тем и тут та же упорная, глухая и уже застарелая борьба, борьба на смерть всеобщезападного личного начала с необходимостью хоть как-нибудь ужиться вместе, хоть как-нибудь составить общину и устроиться в одном муравейнике; хоть в муравейник обратиться, да только устроиться, не поедая друг друга — не то обращение в антропофаги! В этом отношении, с другой стороны, замечается то же, что и в Париже: такое же отчаянное стремление с отчаяния остановиться на status quo, вырвать с мясом из себя все желания и надежды, проклясть свое будущее, в которое не хватает веры, может быть, у самих предводителей прогресса, и поклониться Ваалу. Пожалуйста, однако ж, не увлекайтесь высоким слогом: все это замечается сознательно только в душе передовых сознающих да бессознательно инстинктивно — в жизненных отправлениях всей массы. Но буржуа, например в Париже, сознательно почти очень доволен и уверен, что все так и следует, и прибьет даже вас, если вы усомнитесь в том, что так и следует быть, прибьет, потому что до сих пор все что-то побаивается, несмотря на всю самоуверенность. В Лондоне хоть и так же, но зато какие широкие, подавляющие картины! Даже наружно какая разница с Парижем. Этот день и ночь суевающийся и необъятный, как море, город, визг и вой машин, эти чугунки, проложенные поверх домов (а вскоре и под домами), эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчепель, с его полуголым, диким и голодным населением. Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка... Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? — думаете вы; — не конец ли тут? не это ли уж и в самом деле, "едино стадо". Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, — людей, пришедших с одной мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо векового духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал... — Ну, это вздор, — скажете вы, — болезненный вздор, нервы, преувеличение. Не остановится на этом никто, и никто не примет этого за свой идеал. К тому же голод и рабство не свой брат и лучше всего подскажут отрицание и зародят скептицизм. А сытые дилетанты, прогуливающиеся для своего удовольствия, конечно, могут создавать картины из Апокалипсиса и тешить свои нервы, преувеличивая и вымогая из всякого явления для возбуждения себя сильные ощущения... — Так, — отвечаю я, — положим, что я был увлечен декорацией, это все так. Но если бы вы видели, как горд тот могучий дух, который создал эту колоссальную декорацию, и

как гордо убежден этот дух в своей победе и в своем торжестве, то вы бы содрогнулись за его гордыню, упорство и слепоту, содрогнулись бы и за тех, над кем носится и царит этот гордый дух. При такой колоссальности, при такой исполинской гордости владычествующего духа, при такой торжественной оконченности созданий этого духа, замирает нередко и голодная душа, смиряется, подчиняется, ищет спасения в джине и в разврате и начинает веровать, что так всему тому и следует быть. Факт давит, масса деревенеет и прихватывает китайщины, или если и рождается скептицизм, то мрачно и с проклятием ищет спасения в чем-нибудь вроде мормоновщины. А в Лондоне можно увидеть массу в таком размере и при такой обстановке, в какой вы нигде в свете ее наяву не увидите. Говорили мне, например, что ночью по субботам полмиллиона работников и работниц, с их детьми, разливаются как море по всему городу, наиболее группируясь в иных кварталах, и всю ночь до пяти часов празднуют шабаш, то есть наедаются и напиваются, как скоты, за всю неделю. Все это несет свои еженедельные экономии, все заработанное тяжким трудом и проклятием. В мясных и съестных лавках толстейшими пучками горит газ, ярко освещая улицы. Точно бал устраивается для этих белых негров. Народ толпится в отворенных тавернах и в улицах. Тут же едят и пьют. Пивные лавки разубраны, как дворцы. Все пьяно, но без веселья, а мрачно, тяжело, и все как-то странно молчаливо. Только иногда ругательства и кровавые потасовки нарушают эту подозрительную и грустно действующую на вас молчаливость. Все это поскорей торопится напиться до потери сознания... Жены не отстают от мужей и напиваются вместе с мужьями; дети бегают и ползают между ними. В такую ночь, во втором часу, я заблудился однажды и долго таскался по улицам среди неисчислимой толпы этого мрачного народа, расспрашивая почти знаками дорогу, потому что по-английски я не знаю ни слова. Я добился дороги, но впечатление того, что я видел, мучило меня дня три после этого. Народ везде народ, но тут все было так колоссально, так ярко, что вы как бы ощупали то, что до сих пор только воображали. Тут уж вы видите даже и не народ, а потерю сознания, систематическую, покорную, поощряемую. И вы чувствуете, глядя на всех этих париев общества, что еще долго не сбудется для них пророчество, что еще долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд и что долго еще будут они взывать к престолу всевышнего: "доколе, господи". И они сами знают это и покамест отмщают за себя обществу какими-то подземными мормонами, трясучками, странниками... Мы удивляемся глупости идти в какие-то трясучки и странники и не догадываемся, что тут — отделение от нашей общественной формулы, отделение упорное, бессознательное; инстинктивное отделение во что бы то ни стало для ради спасения, отделение с отвращением от нас и ужасом. Эти миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ошупью стучатся хоть в какие-нибудь ворота и ищут выхода, чтоб не задохнуться в темном подвале. Тут последняя, отчаянная попытка сбиться в свою кучу, в свою массу и отделиться от всего, хотя бы даже от образа человеческого, только бы быть по-своему, только бы не быть вместе с нами... Я видел в Лондоне еще одну подобную же этой массу, которую тоже нигде не увидите в таком размере, как в Лондоне. Тоже декорация в своем роде. Кто бывал в Лондоне, тот, наверно, хоть раз сходил ночью в Гай-Маркет. Это квартал, в котором по ночам, в некоторых улицах, тысячами толпятся публичные женщины. Улицы освещены пучками газа, о которых у нас не имеют понятия. Великолепные кофейни, разубранные зеркалами и золотом, на каждом шагу. Тут и сборища, тут и приюты. Даже жутко входить в эту толпу. И так странно она составлена. Тут и старухи, тут и красавицы, перед которыми

останавливаешься в изумлении. Во всем мире нет такого красивого типа женщин, как англичанки. Все это с трудом толпится в улицах, тесно, густо. Толпа не умещается на тротуарах и заливает всю улицу. Все это жаждет добычи и бросается с бесстыдным цинизмом на первого встречного. Тут и блестящие дорогие одежды и почти лохмотья, и резкое различие лет, все вместе. В этой ужасной толпе толкается и пьяный бродяга, сюда же заходит и титулованный богач. Слышны ругательства, ссоры, зазыванье и тихий, призывный шепот еще робкой красавицы. И какая иногда красота! Лица точно из кипсеков. Помню, раз я зашел в одно "Casino". Там гремела музыка, шли танцы, толпилась бездна народу. Убранство было великолепное. Но мрачный характер не оставляет англичан и среди веселья: они и танцуют серьезно, даже угрюмо, чуть не выделявая па и как будто по обязанности. Наверху, в галерее, я увидел одну девушку и остановился просто изумленный: ничего подобного такой идеальной красоте я еще не встречал никогда. Она сидела за столиком вместе с молодым человеком, кажется богатым джентльменом и, по всему видно, непривычным посетителем казино. Он, может быть, отыскивал ее, и наконец они свиделись или условились видеться здесь. Он мало говорил с нею и все как-то отрывисто, как будто не о том, о чем они хотели бы говорить. Разговор часто прерывался долгим молчанием. Она тоже была очень грустна. Черты лица ее были нежны, тонки, что-то затаенное и грустное было в ее прекрасном и немного гордом взгляде, что-то мыслящее и тоскующее. Мне кажется, у ней была чахотка. Она была, она не могла не быть выше всей этой толпы несчастных женщин своим развитием: иначе что же значит лицо человеческое? А между тем она тут же пила джин, за который заплатил молодой человек. Наконец он встал, пожал ей руку, и они расстались. Он ушел из казино, а она, с румянцем, разгоревшимся от водки густыми пятнами на ее бледных щеках, пошла и затерялась в толпе промышляющих женщин. В Гай-Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей. Маленькие девочки лет по двенадцати хватают вас за руку и просят, чтоб вы шли с ними. Помню раз, в толпе народа, на улице, я увидел одну девочку, лет шести не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело ее было в синяках. Она шла, как бы не помня себя, не торопясь никуда, бог знает зачем шатаясь в толпе; может быть, она была голодна. На нее никто не обращал внимания. Но что более всего меня поразило — она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое создание, уже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она все качала своей включенной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг сплескивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла серебряную монетку, потом дико, с боязливым изумлением посмотрела мне в глаза и вдруг бросилась бежать со всех ног назад, точно боясь, что я отниму у ней деньги. Вообще предметы игривые... И вот, раз ночью, в толпе этих потерянных женщин и развратников остановила меня женщина, торопливо пробиравшаяся сквозь толпу. Она была одета вся в черном, в шляпке, почти закрывавшей ее лицо; я почти и не успел разглядеть его; помню только пристальный ее взгляд. Она сказала что-то, что я не мог разобрать, ломаным французским языком, сунула мне в руку какую-то маленькую бумажку и быстро прошла далее. У освещенного окна кофейной я рассмотрел бумажку: это был маленький квадратный лоскуток; на одной стороне его было напечатано: "Crois-tu cela??. [10] На другой стороне, по-французски же: "Az esmь воскресение и живот..." и т. д. — несколько известных строк.

Согласитесь, что это тоже довольно оригинально. Мне растолковали потом, что это католическая пропаганда, шныряющая всюду, упорная, неустанная. То раздаются эти бумажки на улицах, то книжки, состоящие из разных отдельных выдержек из Евангелия и Библии. Раздают их даром, навязывают, суют в руки. Пропагаторов бездна, и мужчин и женщин. Это пропаганда тонкая и расчетливая. Католический священник сам выследит и вотрется в бедное семейство какого-нибудь работника. Найдёт он, например, больного, лежащего в отребьи на сыром полу, окруженного одичавшими с голоду и с холоду детьми, с голодной, а зачастую и пьяной женой. Он всех накормит, оденет, обогреет, начнет лечить больного, покупает лекарство, делается другом дома и под конец обращает всех в католичество. Иногда, впрочем, уже после излечения, его прогоняют с ругательствами и побоями. Он не устает и идет к другим. Его оттуда вытолкают; он все снесет, но уж кого-нибудь да уловит. Англиканский же священник не пойдет к бедному. Бедных и в церковь не пускают, потому что им нечем заплатить за место на скамье. Браки между работниками и вообще между бедными почти зачастую незаконные, потому что дорого стоит венчаться. Кстати, многие из этих мужей ужасно бьют своих жен, уродуют их насмерть и больше вс? кочергами, которыми разворачиваются в камине уголья. Это у них какой-то уже определенный к битью инструмент. По крайней мере в газетах, при описании семейных ссор, увечий и убийств, всегда упоминается кочерга. Дети у них, чуть-чуть подросши, зачастую идут на улицу, сливаются с толпой и под конец не возвращаются к родителям. Англиканские священники и епископы горды и богаты, живут в богатых приходах и жиреют в совершенном спокойствии совести. Они большие педанты, очень образованны и сами важно и серьезно верят в свое тупонравственное достоинство, в свое право читать спокойную и самоуверенную мораль, жиреть и жить тут для богатых. Это религия богатых и уж без маски. По крайней мере рационально и без обмана. У этих убежденных до отупения профессоров религии есть одна своего рода забава: это миссионерство. Исходят всю землю, зайдут в глубь Африки, чтоб обратить одного дикого, и забывают миллион диких в Лондоне за то, что у тех нечем платить им. Но богатые англичане и вообще все тамошние золотые тельцы чрезвычайно религиозны, мрачно, угрюмо и своеобразно. Английские поэты испокон веку любят воспевать красоту пасторских жилищ в провинции, осененных столетними дубами и вязами, их добродетельных жен и идеально прекрасных, белокурых дочерей с голубыми глазами. Но когда проходит ночь и начинается день, тот же гордый и мрачный дух снова царственно проносится над исполинским городом. Он не тревожится тем, что было ночью, не тревожится и тем, что видит кругом себя днем. Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден. Вера его в себя безгранична; он презрительно и спокойно, чтоб только отвязаться, подает организованную милостыню, и затем поколебать его самоуверенность невозможно. Ваал не прячет от себя, как делают, например, в Париже, иных диких, подозрительных и тревожных явлений жизни. Бедность, страдание, ропот и отупение массы его не тревожат нисколько. Он презрительно позволяет всем этим подозрительным и зловещим явлениям жить рядом с его жизнью, подле, наяву. Он не старается трусливо, как парижанин, усиленно разуверять себя, ободрять и доносить самому себе, что все спокойно и благополучно. Он не прячет, как в Париже, куда-то бедных, чтоб те не тревожили и не пугали напрасно его сна. Парижанин, как птица страус, любит затыкать свою голову в песок, чтоб так уж и не видать наступающих его охотников. В Париже... Но, однако, что ж это я! Я опять не в Париже... Да когда ж это, господа, я приучусь к порядку... Глава VI. Опыт о буржуа Отчего же здесь все это ежится, отчего все это хочет разменяться на

мелкую монету, стесниться, стушеваться, "нет меня, нет совсем на свете; я спрятался, проходите, пожалуйста, мимо и не замечайте меня, сделайте вид, как будто вы меня не видите, проходите, проходите!" — Да о ком вы говорите? Кто ежится? — Да буржуа. — Помилуйте, он король, он вс?, le tiers etat c'est tout, [11] а вы — ежится! — Да-с, а отчего он так спрятался под императора Наполеона? Отчего он забыл высокий слог в палате депутатов, который он так любил прежде? Отчего он не хочет ничего вспоминать и руками машет, когда ему напомним о чем-нибудь, что было в старину? Отчего у него тотчас же на уме, и в глазах, и на языке тревога, когда другие чего-нибудь осмелятся пожелать в его присутствии? Отчего, когда он сам сдуру разблажится и чего-нибудь вдруг пожелает, то тотчас же вздрогнет и начнет отрешиваться: "Господи! да что это я, наконец!" — и долго еще после того совестливо старается загладить свое поведение старанием и послушанием? Отчего он смотрит и чуть не говорит: "Вот, поторгую сегодня маленько в лавочке, да бог даст завтра опять поторгую, может, и послезавтра, если будет великая милость господня... Ну, а там, а там, только бы вот поскорее накопить хоть крошечку, и — apres moi le deluge!?. [12] Отчего он куда-то прибрал всех бедных и уверяет, что их совсем нет? Отчего он довольствуется казенной литературой. Отчего ему ужасно хочется уверить себя, что его журналы неподкупны? Отчего он соглашается давать столько денег на шпионов? Отчего он не смеет пикнуть слова о мексиканской экспедиции? Отчего в театре мужья выставляются в таком благороднейшем и денежном виде, а любовники вс? такие оборванные, без места и без протекции, приказчики какие-то или художники, дрянцо в высочайшей степени? Отчего ему мерещится, что эпюзы [13] все до единой верны до последней крайности, что фойе благоденствует, rot-au-feu [14] варится на добродетельнейшем огне, а головная прическа в самом лучшем виде, в каком только можно себе представить? Насчет прически уж это так непременно решено, так уж условлено, безо всяких разговоров, так, само собою условилось, и хотя поминутно проезжают по бульварам фиакры с опущенными сторонами, хотя везде есть приюты для всех интересных надобностей, хотя туалеты эпюз даже и весьма часто дороже, чем можно было бы предположить, судя по карману супруга, но так решено, так подписано, и чего же вам более? А почему так решено и подписано? Как же-с: если не так, так ведь, пожалуй, подумают, что идеал не достигнут, что в Париже еще не совершенный рай земной, что можно, пожалуй, чего-нибудь еще пожелать, что, стало быть, буржуа и сам не совершенно доволен тем порядком, за который стоит и который всем навязывает; что в обществе есть прорехи, которые надо чинить. Вот почему буржуа и замазывает дырочки на сапогах чернилами, только бы, боже сохрани, чего не заметили! А эпюзы кушают конфетки, гантируются, [15] так что русские барыни в отдаленном Петербурге им завидуют до истерики, показывают свои ножки и преграциозно приподымают свои платья на бульварах. Чего же более для совершенного счастья? Вот почему заглавия романов, как например "Жена, муж и любовник", уже невозможны при теперешних обстоятельствах, потому что любовников нет и не может быть. И будь их в Париже так же много, как песку морского (а их там, может, и больше), все-таки их там нет и не может быть, потому что так решено и подписано, потому что все блестит добродетелями. Так надо, чтоб все блестело добродетелями. Если посмотреть на большой двор в Палероале вечером, до одиннадцати часов ночи, то придется непременно пролить слезу умиления. Бесчисленные мужья прогуливаются с своими бесчисленными эпюзами под руку, кругом резвятся их милые и благонравные детки, фонтанчик шумит и однообразным плеском струй напоминает вам о чем-то покойном, тихом, всегдашнем, постоянном,

гейдельбергском. И ведь не один фонтанчик в Париже шумит таким образом: фонтанчиков много, и везде то же самое, так что сердце радуется. Потребность добродетели в Париже неугасима. Теперь француз серьезен, солиден и даже часто умиляется сердцем, так что и не понимаю, почему даже до сих пор он так ужасно чего-то трусит, трусит, несмотря даже на всю *gloire militaire*, [16] процветающую во Франции, и за которую Jacques Bonhomme [17] так дорого платит. Парижанин ужасно любит торговать, но, кажется, и торгуя и облупливая вас, как липку, в своем магазине, он облупливает не просто для барышей, как бывало прежде, а из добродетели, из какой-то священной необходимости. Накопить фортуны и иметь как можно больше вещей — это обратилось в самый главный кодекс нравственности, в катехизм парижанина. Это и прежде было, но теперь, теперь это имеет какой-то, так сказать, священный вид. Прежде хоть что-нибудь признавалось, кроме денег, так что человек и без денег, но с другими качествами мог рассчитывать хоть на какое-нибудь уважение; ну, а теперь ни-ни. Теперь надо накопить денежки и завести как можно больше вещей, тогда и можно рассчитывать хоть на какое-нибудь уважение. И не только на уважение других, но даже на самоуважение нельзя иначе рассчитывать. Парижанин себя в грош не ставит, если чувствует, что у него карманы пусты, и это сознательно, совестливо, с великим убеждением. Вам позволяют удивительные вещи, если у вас только есть деньги. Бедный Сократ есть только глупый и вредный фразер и уважается только разве на театре, потому что буржуа все еще любит уважать добродетель на театре. Странный человек этот буржуа: провозглашает прямо, что деньги есть высочайшая добродетель и обязанность человеческая, а между тем ужасно любит поиграть и в высшее благородство. Все французы имеют удивительно благородный вид. У самого подлого французика, который за четвертак продаст вам родного отца, да еще сам, без спросу, прибавит вам что-нибудь в придачу, в то же время, даже в ту самую минуту, как он вам продает своего отца, такая внушительная осанка, что на вас даже нападает недоумение. Войдите в магазин купить что-нибудь, и последний приказчик раздавит, просто раздавит вас своим неизъяснимым благородством. Это те самые приказчики, которые служат моделью самого субдительного суперфлю для нашего Михайловского театра. Вы подавлены, вы просто чувствуете себя в чем-то виноватым перед этим приказчиком. Вы пришли, например, чтоб издержать десять франков, а между тем вас встречают как лорда Девоншира. Вам тотчас же делается отчего-то ужасно совестно, вам хочется поскорей уверить, что вы вовсе не лорд Девоншир, а только так себе, скромный путешественник, и вошли, чтоб купить только на десять франков. Но молодой человек самой счастливой наружности и с неизъяснимейшим благородством в душе, при виде которого вы готовы себя признать даже подлецом (потому что уж до такой степени он благороден!), начинает вам развертывать товару на десятки тысяч франков. Он в одну минуту забросал для вас весь прилавок, и как подумаешь тут же, сколько ему, бедненькому, придется после вас опять завертывать, ему, Грандисону, Алкивиаду, Монморанси, да еще после кого? после вас, имевшего дерзость с вашей незавидной наружностью, с вашими пороками и недостатками, с вашими отвратительными десятью франками прийти беспокоить такого маркиза, — как подумаешь все это, то поневоле мигом, тут же за прилавком, начинаешь в высочайшей степени презирать себя. Вы раскаиваетесь и проклинаете судьбу, зачем у вас в кармане теперь только сто франков; вы бросаете их, прося взглядом прощения. Но вам великодушно завертывают товар на ваши мизерные сто франков, прощают вам всю тревогу, все беспокойство, которое вы произвели в магазине, и вы спешите как-нибудь поскорее ступать. Придя домой, вы ужасно удивляетесь, что

хотели истратить только десять франков, а истратили сто. Сколько раз, проходя бульвары или Rue Vivienne, где столько громадных магазинов с галантерейностями, я мечтал про себя: вот бы напустить сюда русских барынь и... но о том, что следует дальше, лучше всего знают приказчики и старосты в орловских, тамбовских и разных прочих губерниях. Русским вообще ужасно хочется показать в магазинах, что у них необъятно много денег. Зато находится же на свете такое бесстыдство, как например в англичанках, которые не только не смущаются, что какой-нибудь Адонис, Вильгельм Телль забросал для них весь прилавок товарами и переверотил весь магазин, но даже начинают — о ужас! — торговаться из-за каких-нибудь десяти франков. Но и Вильгельм Телль не промах: уж он отмстит за себя и за какую-нибудь шаль в тысячу пятьсот франков слупит с миледи двенадцать тысяч, да еще так, что та остается совершенно довольна. Но, несмотря на то, буржуа до страсти любит неизъяснимое благородство. На театре подавай ему непременно бессребренников. Гюстав должен сиять только одним благородством, и буржуа плачет от умиления. Без неизъяснимого благородства он и спать не может спокойно. А что он взял двенадцать тысяч вместо тысячи пятисот франков, то это даже обязанность: он взял из добродетели. Воровать гадко, подло, — за это на галеры; буржуа многое готов простить, но не простит воровства, хотя бы вы или дети ваши умирали с голоду. Но если вы украдете из добродетели, о, вам тогда совершенно все прощается. Вы, стало быть, хотите faire fortune [18] и накопить много вещей, то есть исполнить долг природы человечества. Вот почему в кодексе совершенно ясно обозначены пункты воровства из низкой цели, то есть из-за какого-нибудь куска хлеба, и воровство из высокой добродетели. Последнее в высочайшей степени обеспечено, поощряется и необыкновенно прочно организовано. Почему же, наконец, — опять-таки я все на прежнее, — почему же, наконец, буржуа до сих пор как будто чего-то трусит, как будто не в своей тарелке сидит? Чего ему беспокоиться? Парлеров, фразеров? Да ведь он их одним толчком ноги пошлет теперь к черту. Доводов чистого разума? Да ведь разум оказался несостоятельным перед действительностью, да, сверх того, сами-то разумные, сами-то ученые начинают учить теперь, что нет доводов чистого разума, что чистого разума и не существует на свете, что отвлеченная логика неприложима к человечеству, что есть разум Иванов, Петров, Гюставов, а чистого разума совсем не бывало; что это только неосновательная выдумка восемнадцатого столетия. Кого же бояться? Работников? Да ведь работники тоже все в душе собственники: весь идеал их в том, чтоб быть собственниками и накопить как можно больше вещей; такая уж натура. Натура даром не дается. Все это веками взращено и веками воспитано. Национальность не легко переделывается, не легко отстать от вековых привычек, вошедших в плоть и кровь. Земледельцев? Да ведь французские земледельцы архисобственники, самые тупые собственники, то есть самый лучший и самый полный идеал собственника, какой только можно себе представить. Коммунистов? Социалистов, наконец? Но ведь этот народ сильно в свое время профершпилился, и буржуа в душе глубоко его презирает; презирает, а между тем все-таки боится. Да; вот этого-то народа он до сих пор и боится. А чего бы, кажется, бояться? Ведь предрек же аббат Сийес в своем знаменитом памфлете, что буржуа — это вс?. "Что такое tiers etat? Ничего. Чем должно оно быть? Всем". Ну так и случилось, как он сказал. Одни только эти слова и осуществились из всех слов, сказанных в то время; они одни и остались. А буржуа все еще как-то не верит, несмотря на то, что все, что было сказано после слов Сийеса, сбрендило и лопнуло, как мыльный пузырь. В самом деле: провозгласили вскоре после него: Liberte, egalite, fraternite. Очень хорошо-с. Что

такое liberte? Свобода. Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать все что угодно в пределах закона. Когда можно делать все что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все что угодно, а тот, с которым делают все что угодно. Что ж из этого следует? А следует то, что кроме свободы, есть еще равенство, и именно равенство перед законом. Про это равенство перед законом можно только сказать, что в том виде, в каком оно теперь прилагается, каждый француз может и должен принять его за личную для себя обиду. Что ж остается из формулы? Братство. Ну эта статья самая курьезная и, надо признаться, до сих пор составляет главный камень преткновения на Западе. Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братства, коли его нет в действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы ни стало. Но оказывается, что сделать братства нельзя, потому что оно само делается, дается, в природе находится. А в природе французской, да и вообще западной, его в наличности не оказалось, а оказалось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своем собственном Я, сопоставления этого Я всей природе и всем остальным людям, как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него. Ну, а из такого самопоставления не могло произойти братства. Почему? Потому что в братстве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не Я, должна хлопотать а праве своей равноценности и равновесности со всем остальным, а все-то это остальное должно бы было само прийти к этой требующей права личности, к этому отдельному Я, и само, без его просьбы должно бы было признать его равноценным и равноправным себе, то есть всему остальному, что есть на свете. Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна бы была все свое Я, всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать своего права, но, напротив, отдать его обществу без всяких условий. Но западная личность не привыкла к такому ходу дела: она требует с бою, она требует права, она хочет делиться — ну и не выходит братства. Конечно, можно переродиться? Но перерождение это совершается тысячелетиями, ибо подобные идеи должны сначала в кровь и плоть войти, чтобы стать действительностью. Что ж, скажете вы мне, надо быть безличностью, чтоб быть счастливым? Разве в безличности спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормально человека. Но тут есть один волосок, один самый тоненький волосок, но который если попадет под машину, то все разом треснет и разрушится. Именно: беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды. Например; я приношу и жертвую всего себя для всех; ну, вот и надобно, чтоб я жертвовал себя совсем, окончательно, без мысли

о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую обществу всего себя и за это само общество отдаст мне всего себя. Надо жертвовать именно так, чтоб отдавать все и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за это обратно, чтоб на тебя никто ни в чем не изубыточился. Как же это сделать? Ведь это все равно, что не вспоминать о белом медведе. Попробуйте задать себе задачу: не вспоминать о белом медведе, и увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться. Как же сделать? Сделать никак нельзя, а надо, чтоб оно само собой сделалось, чтоб оно было в натуре, бессознательно в природе всего племени заключалось, одним словом: чтоб было братское, любящее начало — надо любить. Надо, чтоб самого инстинктивно тянуло на братство, общину, на согласие, и тянуло, несмотря на все вековые страдания нации, несмотря на варварскую грубость и невежество, укоренившиеся в нации, несмотря на вековое рабство, на нашествия иноплеменников, — одним словом, чтоб потребность братской общины была в натуре человека, чтоб он с тем и родился или усвоил себе такую привычку искони веков. В чем состояло бы это братство, если б переложить его на разумный, сознательный язык? В том, чтоб каждая отдельная личность сама, безо всякого принуждения, безо всякой выгоды для себя сказала бы обществу: "Мы крепки только все вместе, возьмите же меня всего, если вам во мне надобность, не думайте обо мне, издавая свои законы, не заботьтесь нисколько, я все свои права вам отдаю, и, пожалуйста, располагайте мною. Это высшее счастье мое — вам всем пожертвовать и чтоб вам за это не было никакого ущерба. Уничтожусь, сольюсь с полным безразличием, только бы ваше-то братство процветало и осталось". А братство, напротив, должно сказать: "Ты слишком много даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не вправе не принять от тебя, ибо ты сам говоришь, что в этом все твое счастье; но что же делать, когда у нас беспрестанно болит сердце и за твое счастье. Возьми же все и от нас. Мы всеми силами будем стараться поминутно, чтоб у тебя было как можно больше личной свободы, как можно больше самопроявления. Никаких врагов, ни людей, ни природы теперь не бойся. Мы все за тебя, мы все гарантируем тебе безопасность, мы неусыпно о тебе стараемся, потому что мы братья, мы все твои братья, а нас много и мы сильны; будь же вполне спокоен и бодр, ничего не бойся и надейся на нас". После этого, разумеется, уж нечего делиться, тут уж все само собою разделится. Любите друг друга, и все сие вам приложится. Эка ведь в самом деле утопия, господа! Все основано на чувстве, на натуре, а не на разуме. Ведь это даже как будто унижение для разума. Как вы думаете? Утопия это или нет? Но, опять-таки, что же делать социалисту, если в западном человеке нет братского начала, а, напротив, начало единичное, личное, беспрерывно ослабляющееся, требующее с мечом в руке своих прав. Социалист, видя, что нет братства, начинает уговаривать на братство. За неимением братства он хочет сделать, составить братство. Чтоб сделать рагу из зайца, надо прежде всего зайца. Но зайца не имеется, то есть не имеется натуры, способной к братству, натуры, верующей в братство, которую само собою тянет на братство. В отчаянии социалист начинает делать, определять будущее братство, рассчитывает на вес и на меру, соблазняет выгодой, толкует, учит, рассказывает, сколько кому от этого братства выгоды придется, кто сколько выиграет, определяет, чем каждая личность смотрит, насколько тяготеет и определяет заранее расчет благ земных; насколько кто их заслужит и сколько каждый за них должен добровольно внести в ущерб своей личности в общину. А уж какое тут братство, когда заране делятся и определяют, кто сколько заслужил и что каждому надо делать? Впрочем, провозглашена была формула: "Каждый для всех и все для каждого". Уж лучше этого, разумеется, ничего нельзя было

выдумать, тем более что вся формула целиком взята из одной всем известной книжки. Но вот начали прикладывать эту формулу к делу, и через шесть месяцев братья потянули основателя братства Кабета к суду. Фурьеристы, говорят, взяли свои последние девятьсот тысяч франков из своего капитала, а все еще пробуют, как бы устроить братство. Ничего не выходит. Конечно, есть великая приманка жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании, то есть хорошо, когда тебя все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. Но тут опять выходит загадка: кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому — полная воля. И ведь на воле бьют его, работы ему не дают, умирает он с голоду и воли у него нет никакой, так нет же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше. Разумеется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему, что он дурак, не дорос, не созрел и не понимает своей собственной выгоды; что муравей, какой-нибудь бессловесный, ничтожный муравей, его умнее, потому что в муравейнике все так хорошо, все так разлиновано, все сыты, счастливы, каждый знает свое дело, одним словом: далеко еще человеку до муравейника! Другими словами: хоть и возможен социализм, да только где-нибудь не во Франции. И вот в самом последнем отчаянии социалист провозглашает наконец: *Liberte, egalite, fraternite ou la mort*. [19] Ну, уж тут нечего говорить, и буржуа окончательно торжествует. А если буржуа торжествует, так, стало быть, и сбылась формула Сийеса, буквально и в последней точности. Итак, буржуа все, отчего же он конфузится, отчего ежится, чего боится? Все сбрендили, все перед ним оказались несостоятельными. Прежде, при Луи-Филиппе например, буржуа вовсе не так конфузился и боялся, а ведь он и тогда царил. Да, но он тогда еще боролся, предчувствовал, что ему есть враги и, последний раз разделался с ними на июньских баррикадах ружьем и штыком. Но бой кончился, и вдруг буржуа увидел, что он один на земле, что лучше его и нет ничего, что он идеал и что ему осталось теперь не то чтоб, как прежде, уверять весь свет, что он идеал, а просто спокойно и величаво позировать всему свету в виде последней красоты и всевозможных совершенств человеческих. Положение, как хотите, конфузное. Выручил Наполеон III. Он как с неба им упал, как единственный выход из затруднения, как единственная тогдашняя возможность. С тех самых пор буржуа благоденствует, за благоденствие свое платит ужасно и всего боится, именно потому, что всего достиг. Когда всего достигаешь, тяжело становится все потерять. Из этого прямо выходит, друзья мои, что кто наиболее боится, значит тот наиболее благоденствует. Не смейтесь, пожалуйста. Ведь что же такое теперь буржуа? Глава VII. Продолжение предыдущего И почему между буржуа столько лакеев, да еще при такой благородной наружности? Пожалуйста, не обвиняйте меня, не кричите, что я преувеличиваю, клеветую, что во мне говорит ненависть. К чему? к кому? зачем ненависть? Просто много лакеев, и это так. Лакейство въедается в натуру буржуа все более и более и все более и более считается добродетелью. Так и должно быть при теперешнем порядке вещей. Естественное следствие. А главное, главное — натура помогает. Я уж не говорю, например, что в буржуа много прирожденного шпионства. Мое мнение именно в том состоит, что необычайное развитие шпионства во Франции, и не простого, а мастерского шпионства, шпионства по призванию, дошедшего до искусства, имеющего свои научные приемы, происходит у них от врожденного лакейства. Какой идеально благородный Гюстав, если только он не имеет еще

вещей, не предоставит сейчас же за десять тысяч франков письма своей возлюбленной и не выдаст свою любовницу ее мужу? Может, я и преувеличиваю это, но, может быть, я говорю, основываясь на каких-нибудь фактах. Француз любит ужасно забежать вперед, как-нибудь на глаза к власти и слакейничать перед ней что-нибудь даже совершенно бескорыстно, даже и не ожидая сейчасней награды, в долг, на книжку. Вспомните всех этих искателей мест, например, при частой перемене правительств, бывших во Франции. Вспомните, какие штучки и коленца они выделявали и в чем сами признавались. Вспомните один из ямбов Барбие по этому поводу. Взял я раз в кафе одну газету от 3 июля. Смотрю: письма из Виши. В Виши гостил тогда император, ну и двор, разумеется; были кавалькады, гулянья. Корреспондент все это описывает. Он начинает: "У нас много превосходных наездников. Разумеется, вы тотчас же угадали самого блестящего из всех. Его величество прогуливается каждый день в сопровождении своей свиты и т. д.". Оно понятно, пусть увлекается блестящими качествами своего императора. Можно благоговеть перед его умом, расчетливостью, совершенствами и т. д. Такому увлекающемуся господину и нельзя сказать в глаза, что он притворяется. "Мое убеждение — и кончено", — ответит он вам, ни дать ни взять как ответят вам некоторые из наших современных журналистов. Понимаете: он гарантирован; ему есть, что вам отвечать, чтоб зажать вам рот. Свобода совести и убеждений есть первая и главная свобода в мире. Но тут, в этом случае, что может он вам ответить? Тут ведь уж он не смотрит на законы действительности, попирает всякое правдоподобие и делает это намеренно. А для чего бы, кажется, это делать намеренно? Ведь ему никто не поверит. Сам наездник, наверно, этого не прочтет, а если и прочтет, то неужели французик, писавший "correspondence", газета, ее поместившая у себя, и редакция газеты, неужели ж все они до того глупы, чтоб не разобрать, что владыке вовсе не нужна слава первого наездника во Франции, что он под старость вовсе и не рассчитывает на эту славу и, конечно, не поверит, если его будут уверять, что он самый ловкий наездник из всей Франции; говорят, он человек чрезвычайно умный. Нет-с, тут другой расчет: пусть неправдоподобно, смешно, пусть сам владыка посмотрит на это с отвращением и презрительным смехом, пусть, пусть, но зато увидит слепую покорность, увидит безграничное `падам до ног, рабское, глупое, неправдоподобное, но за то, `падам до ног, а это главное. Теперь рассудите: если б это было не в духе нации, если б такая подлая лесть не считалась совершенно возможной, обыкновенной, совершенно в порядке вещей, и даже приличной — возможно ли было бы поместить в парижской газете такую корреспонденцию? Где вы встретите в печати подобную лесть, кроме Франции? Я именно потому и говорю о духе нации, что не одна газета так толкует, а почти все такие же в таком же точно роде, кроме двух-трех не совсем зависимых. Сидел я раз за одним табльдотом — это уж было не во Франции, а в Италии, но за табльдотом было много французов. Толковали о Гарибальди. Тогда везде толковали о Гарибальди. Это было недели за две до Аспромонте. Разумеется, говорили загадочно; иные молчали и не хотели совсем высказываться; другие качали головами. Общий смысл разговора был тот, что Гарибальди затеял дело рискованное, даже неблагоприятное; но, конечно, высказывали это мнение с недоговорками, потому что Гарибальди — человек до того всем не в уровень, что у него, пожалуй, и выйдет благоразумно даже и то, что по обыкновенным соображениям выходит слишком рискованным. Мало-помалу перешли собственно к личности Гарибальди. Стали перечислять его качества — приговор был довольно благоприятный для итальянского героя. — Нет, я одному только в нем удивляюсь, — громко проговорил один француз, приятной и внушительной наружности, лет тридцати и с отпечатком

на лице того необыкновенного благородства, которое до нахальства бросается вам в глаза во всех французах. — Одно только обстоятельство меня в нем наиболее удивляет! Разумеется, все с любопытством обратились к оратору. Новое качество, открытое в Гарибальди, долженствовало быть для всех интересным. — В шестидесятом году, некоторое время, в Неаполе, он пользовался неограниченной и самою бесконтрольной властью. В руках у него была сумма в двадцать миллионов казенных денег! В этой сумме он никому не давал отчета! Он мог взять и утаить сколько угодно из этой суммы, и никто бы с него не спросил! Он не утаил ничего и сдал правительству все счетом до последнего су. Это почти невероятно!! Даже глаза его разгорелись, когда он говорил о двадцати миллионах франков. Про Гарибальди, конечно, можно рассказывать все что угодно. Но сопоставить имя Гарибальди с хаптурками из казенного мешка — это, разумеется, мог сделать только один француз. И как наивно, как чистосердечно он это проговорил. За чистосердечие, разумеется, все прощается, даже утраченная способность понимать и чутья настоящей чести; но, заглянув в лицо, так и заигравшее при воспоминании о двадцати миллионах, я совершенно нечаянно подумал: "А что, брат, если б ты вместо Гарибальди находился тогда при казенном мешке!" Вы скажете мне, что это опять неправда, что все это только частные случаи, что и у нас точно так же происходит и что не могу же я ручаться за всех французов. Конечно, так, я и не говорю про всех. Везде есть неизъяснимое благородство, а у нас, может быть, даже и гораздо хуже бывало. Но в добродетель-то, в добродетель-то зачем возводить? Знаете что? Можно быть даже и подлецом, да чутья о чести не потерять; а тут ведь очень много честных людей, но зато чутье чести совершенно потеряли и потому подличают, не ведая, что творят, из добродетели. Первое, разумеется, порочнее, но последнее, как хотите, презрительней. Такой катехизис о добродетелях составляет худой симптом в жизни нации. Ну, а насчет частных случаев я не хочу с вами спорить. Даже вся нация-то состоит ведь из одних только частных случаев, не правда ли? Даже я вот что думаю. Я, может быть, ошибся и в том, что буржуа ежится, что он все еще чего-то боится. Ежится-то он действительно ежится, и побаивается, но если подвести итог, то буржуа совершенно благоденствует. Хоть он и сам обманывает себя, хоть и докладывает себе поминутно, что все обстоит благополучно, но, однако ж, это нисколько не мешает наружной его самоуверенности. Мало того: даже и внутри он ужасно самоуверен, когда разыграется. Как все это в нем уживается вместе — действительно задача, но это так. Вообще буржуа очень глуп, но у него ум какой-то коротенький, как будто отрывками. У него ужасно много запасено готовых понятий, точно дров на зиму, и он серьезно намеревается прожить с ними хоть тысячу лет. Впрочем, что же тысячу лет: про тысячу лет буржуа заговаривает редко, только разве когда впадает в красноречие. "Après moi le deluge?" гораздо употребительнее и чаще прилагается к делу. И какое ко всему равнодушие, какие мимолетные, пустые интересы. Мне случалось в Париже бывать в обществе, в доме, где в мое время перебивалось множество людей. Точно все они как будто боятся и заговорить о чем-нибудь необыденном, о чем-нибудь не так мелочном, о каких-нибудь всеобщих интересах, ну там о каких бы то ни было общественных интересах. Тут не мог, мне кажется, быть страх шпионов, тут просто все разучились о чем-нибудь мыслить и говорить посерьезнее. Впрочем, встречались тут люди, которые ужасно интересовались, какое впечатление на меня произвел Париж, насколько я благоговею, насколько я удивлен, раздавлен, уничтожен. Француз до сих пор думает, что он способен нравственно давить и уничтожать. Это тоже довольно забавный признак. Особенно я помню одного премилого,

прелюбезного, предобрейшего старичка, которого я искренно полюбил. Он так и заглядывал мне в глаза, выпрашивая мое мнение о Париже, и ужасно огорчался, когда я не изъяслял особенного восторга. Даже страдание изображалось на добром лице его, — буквально страдание, я не преувеличиваю. О милый m-r Le M-re! Француза, то есть парижанина (потому что ведь, в сущности, все французы парижане), никогда не разуверишь в том, что он не первый человек на всем земном шаре. Впрочем, о всем земном шаре, кроме Парижа, он весьма мало знает. Да и знать-то очень не хочет. Это уж национальное свойство и даже самое характеристичное. Но самое характеристичное свойство француза — это красноречие. Любовь к красноречию в нем неугасима и с годами разгорается все больше и больше. Мне бы ужасно хотелось узнать, когда именно началась во Франции эта любовь к красноречию. Разумеется, главное началось с Людовика XIV. Замечательно, что во Франции все началось с Людовика XIV, право так. Но всего замечательнее, что и во всей Европе все началось с Людовика XIV. И чем взял этот король, — понять не могу! Ведь не особенно же он выше всех прежних других королей. Разве тем, что первый сказал: "l'Etat c'est moi?". [20] Это ужасно понравилось, это всю Европу тогда облетело. Я думаю, одним этим-то словцом он и прославился. Даже у нас оно удивительно скоро стало известно. Национальнейший государь был этот Людовик XIV, вполне во французском духе, так что я даже и не понимаю, как это во Франции могли случиться все эти маленькие шалости... ну вот в конце прошлого столетия. Пошалили и воротились к прежнему духу; на то идет; но красноречие, красноречие, о — это камень преткновения для парижанина. Он все готов забыть из прежнего, все, все, готов вести самые благоразумные разговоры и быть самым послушным и прилежным мальчиком, но красноречия, одного только красноречия он до сих пор никак не может забыть. Он тоскует и вздыхает по красноречию; припоминает Тьера, Гизо, Одилона Барро. То-то красноречия-то было тогда, говорит он иногда про себя и начинает задумываться. Наполеон III это понял, тотчас же порешил, что Jacques Bonhomme не должен задумываться, и мало-помалу завел красноречие. Для сей цели в законодательном корпусе содержится шесть либеральных депутатов, шесть постоянных, неизменных настоящих либеральных депутатов, то есть таких, что, может быть, их и не подкупишь, если начать подкупать, и, однако ж, их все-таки шесть, — шесть было, шесть есть и шесть только и останется. Больше не прибудет, будьте покойны, да и не убудет тоже. И это прехитрая штука на первый взгляд. Дело-то, однако ж, гораздо проще в действительности и обходится при помощи suffrage universel. [21] Разумеется, чтоб они очень-то не заговаривались, приняты все надлежащие меры. Но поболтать позволяется. Ежегодно в нужное время обсуживаются важнейшие государственные вопросы, и парижанин сладко волнуется. Он знает, что будет красноречие, и рад. Разумеется, он очень хорошо знает, что будет только одно красноречие и больше ничего, что будут слова, слова и слова и что из слов этих решительно ничего не выйдет. Но он и этим очень, очень доволен. И сам, первый, находит все это чрезвычайно благоразумным. Речи некоторых из этих шести представителей пользуются особенною популярностью. И представитель всегда готов говорить речи для увеселения публики. Странное дело: ведь и сам он совершенно уверен, что из речей его ничего не выйдет, что все это только одна шутка, шутка и больше ничего, невинная игра, маскарад, а между тем говорит, несколько лет сряду говорит, и прекрасно говорит, даже с большим удовольствием. И у всех членов, которые слушают его, даже слюнки текут от удовольствия. "Хорошо говорит человек!" — и у президента и у всей Франции слюнки текут. Но вот представитель кончил, а затем встает и гувернер сих милых и

благонравных детей. Он торжественно объявляет, что сочинение на заданную тему "Восход Солнца" было отлично развито и обработано почтенным представителем. Мы удивлялись таланту почтенного оратора, говорит он, его мыслям и благонравному поведению, выраженному в этих мыслях, мы наслаждались все, все... Но хотя почтенный член и вполне заслужил в награду книжку с надписью: "За благонравие и успехи в науках", несмотря на то, господа, речь почтенного представителя по некоторым высшим соображениям никуда не годится. Надеюсь, господа, что вы совершенно со мною согласны. Тут он обращается ко всем представителям, и взгляд его начинает сверкать строгостью. Представители, у которых текли слюнки, немедленно с неистовым восторгом рукоплещут гувернеру, а между тем тут же благодарят и трогательно жмут руки и либеральному представителю за доставленное удовольствие, просят доставить им это либеральное удовольствие с позволения гувернера и к следующему разу. Гувернер благосклонно позволяет; сочинитель описания на "Восход солнца" удаляется, гордый своим успехом, представители удаляются, облизываясь, в недра своих семейств и вечером от радости гуляют под ручку с эпизодами в Палероале, прислушиваясь к плеску струй благодетельных фонтанчиков, а гувернер, отапливая кому следует обо всем, объявляет всей Франции, что все обстоит благополучно. Иногда впрочем, когда начинаются дела поважнее, заводят и игру поважнее. В одно из собраний приводят самого принца Наполеона. Принц Наполеон вдруг начинает делать оппозицию, к совершенному испугу всех этих учащихся юношей. В классе торжественная тишина. Принц Наполеон либеральничает, принц не согласен с правительством, по его мнению, надо то-то и то-то. Принц осуждает правительство, одним словом, говорится то самое, что (предполагается) могли бы высказать эти же самые милые дети, если б гувернер хоть на минутку вышел из класса. Разумеется, и тут в меру; да и предположение нелепое, потому что все эти милые дети до того мило воспитаны, что даже и не пошевеливаются, если б гувернер даже на целую неделю от них отлучился. И вот, когда принц Наполеон кончает, встает гувернер и торжественно объявляет, что сочинение на заданную тему "Восход солнца" было отлично развито и обработано почтенным оратором. Мы удивлялись таланту, красноречивым мыслям и благонравию всемирнолюбивейшего принца... Мы готовы выдать книжку за прилежание и успехи в науках, но... и т.д., то есть все, что было сказано прежде; разумеется, весь класс аплодирует с восторгом, доходящим до неистовства, принца уводят домой, благонравные ученики расходятся из класса, как настоящие благонравные паиньки, а вечером гуляют с эпизодами в Палероале, прислушиваясь к плеску струй благодетельных фонтанчиков и т.д., и т.д., и т.д., одним словом, порядок заведен удивительный. Однажды мы заблудились в la salle de pas perdus [22] и вместо отделения, где судятся уголовные процессы, попали в отделение гражданских процессов. Курчавый адвокат в мантии и в шапке говорил речь и сыпал перлами красноречия. Президент, судьи, адвокаты, слушатели плавали в восторге. Была благоговейная тишина; мы вошли на цыпочках. Дело шло об одном наследстве; в дело замешаны были отцы-пустынники. Отцы-пустынники поминутно замешиваются теперь в процессы, преимущественно по наследствам. Самые скандальные, самые гадкие происшествия выводятся наружу; но публика молчит и очень мало скандализируется, потому что отцы-пустынники имеют теперь значительную власть, а буржуа чрезвычайно благонравен. Отцы все более и более останавливаются на том мнении, что капиталчик лучше всего, всех этих мечтаний и прочего, и что как поприкопайшь деньжонок, так и силу можно иметь, а то что красноречие-то! Красноречием одним теперь не возьмешь. Но они в последнем случае, на мой взгляд, немного ошибаются. Конечно,

капитальчик — всеблагое дело, но и красноречием много можно сделать с французом. Эпузы по преимуществу поддаются отцам-пустынникам, даже теперь гораздо более, чем замечалось прежде. Есть надежда, что и буржуа на это поворотит. В процессе изъяснялось, как пустынники долголетним, хитрым, даже ученым (у них есть для этого наука) тяготеньем отяготели над душой одной прекрасной и весьма денежной дамы, как они соблазнили ее идти жить к себе в монастырь, как там пугали ее до болезни, до истерики разными страхами и все с расчетом, с ученою постепенностью. Как, наконец, довели ее до болезни, до идиотства, представили ей, наконец, что видеться с родственниками великий грех перед господом богом, и мало-помалу удалили совершенно родственников. "Даже ее племянница, эта девственная, младенческая душа, пятнадцатилетний ангел чистоты и невинности, даже и она не смела войти в келью своей обожаемой тетки, которая ее любила более всего на свете и которая уже не могла вследствие коварных ухищрений обнять ее и облобызывать ее *front virginal*, [23] где восседал белый ангел невинности"... Одним словом, все в этом роде; было удивительно хорошо. Говоривший адвокат сам, видимо, таял от радости, что он умеет так хорошо говорить, таял президент, таяла публика. Отцы-пустынники проиграли сражение единственно вследствие красноречия. Они, конечно, не унывают. Проиграли одно, выиграют пятнадцать. — Кто адвокат? — спросил я одного молодого студента, бывшего в числе благоговевших слушателей. Студентов тут было множество, и все такие благонравные. Он посмотрел на меня с изумлением. — *Jules Favre!* — ответил он наконец с таким презрительным сожалением, что я, конечно, сконфузился. Таким образом, я имел случай познакомиться с цветами французского красноречия, так сказать, в самом главном его источнике. Но источников этих бездна. Буржуа проеден до конца ногтей красноречием. Однажды мы вошли в Пантеон поглядеть на великих людей. Время было неурочное, и с нас спросили два франка. Затем дряхлый и почтенный инвалид взял ключи и повел нас в церковные склепы. Дорогой он говорил все еще как человек, немного только шамкая за недостатком зубов. Но, сойдя в склепы, немедленно запел, только что подвел нас к первой гробнице: — *Ci-git Voltaire*, [24] — Вольтер, сей великий гений прекрасной Франции. Он искоренял предрассудки, уничтожал невежество, боролся с ангелом тьмы и держал светильник просвещения. В своих трагедиях он достигнул великого, хотя Франция уже имела Корнеля. Он говорил, очевидно, по заученному. Кто-нибудь когда-нибудь написал ему на бумажке рацею, и он ее вытвердил на всю жизнь; даже удовольствие засияло на его старом добродушном лице, когда он начал перед нами выкладывать свой высокий слог.. — *Ci-git Jean Jacques Rousseau*, [25] — продолжал он, подходя к другой гробнице, — *Jean Jacques, l'homme de la verite!* Мне стало вдруг смешно. Высоким слогом все можно опошлить. Да и видно было, что бедный старик, говоря об *nature* и *verite*, решительно не понимал, о чем идет речь. — Странно! — сказал я ему. — Из этих двух великих людей один всю жизнь называл другого лгуном и дурным человеком, а другой называл первого просто дураком. И вот они сошлись здесь почти рядом. — Мсье, мсье! — заметил было инвалид, желая что-то возразить, но, однако ж, не возразил и поскорей повел нас еще к гробнице. — *Ci-git Lannes*, [26] маршал Ланн, — запел он еще раз, — один из величайших героев, которыми обладала Франция, столь обильно наделенная героями. Это был не только великий маршал, искуснейший предводитель войск, исключая великого императора, но он пользовался еще высшим благополучием. Он был другом... — Ну да, это был друг Наполеона, — сказал я, желая сократить речь. — Мсье! Позвольте говорить мне, — прервал инвалид как будто несколько обиженным голосом. — Говорите, говорите, я слушаю. — Но он

пользовался еще высшим благополучием. Он был другом великого императора. Никто другой из всех его маршалов не имел счастья сделаться другом великого человека. Один маршал Ланн удостоился сей великой чести. Когда он умирал на поле сражения за свое отечество... — Ну да, ему оторвало ядром обе ноги. — Мсье, мсье! позвольте же мне самому говорить, — вскричал инвалид почти жалобным голосом. — Вы, может быть, и знаете это все... Но позвольте и мне рассказать! Чужаку ужасно хотелось самому рассказать, хотя бы мы все это и прежде знали. — Когда он умирал, — подхватил он снова, — на поле сражения за свое отечество, тогда император, пораженный в самое сердце и оплакивая великую потерю... — Пришел к нему проститься, — дернуло меня прервать его снова, и я тотчас почувствовал, что я дурно сделал; мне даже сделалось стыдно. — Мсье, мсье! — сказал старик, с жалобным укором смотря мне в глаза и качая седой головой, — мсье! я знаю, я уверен, что вы вс? это знаете, может быть, лучше меня. Но ведь вы сами взяли меня вам показывать: позвольте ж мне говорить самому. Теперь уж немного осталось... — Тогда император, пораженный в самое сердце и оплакивая (увы, бесполезно) великую потерю, которую понесли он, армия и вся Франция, приблизился к его смертной постели и последним прощанием своим смягчил жестокие страдания умершего почти на глазах его полководца. — *C'est fini, monsieur*, [27] — прибавил он, с упреком посмотрев на меня, и пошел далее. — А вот здесь тоже гробница; ну это... *quelques senateurs*, [28] — прибавил он равнодушно и небрежно кивнул головой еще на несколько гробниц, стоявших неподалеку. Все его красноречие истратилось на Вольтера, Жан-Жака и маршала Ланна. Это уже был непосредственный, так сказать, народный пример любви к красноречию. Неужели ж все эти речи ораторов национального собрания, конвента и клубов, в которых народ принимал почти непосредственное участие и на которых он перевоспитался, оставили в нем только один след — любовь к красноречию для красноречия?

Глава VIII. Брибри и мабишь А что ж эпужы? Эпужы благоденствуют, уже сказано. Кстати: почему, спросите вы, пишу я эпужы вместо жены? Высокий слог, господа, вот почему. Буржуа, если заговорит высоким слогом, говорит всегда: *mon epouse*. И хоть в других слоях общества и говорят просто, как и везде: *ma femme* — моя жена, но уж лучше последовать национальному духу большинства и высокого изложения. Оно характернее. К тому же есть и другие наименования. Когда буржуа расчувствуется или захочет обмануть жену, он всегда называет ее: *ma biche*. [29] И обратно, любящая жена в припадке грациозной игривости называет своего милого буржуа: *bribri*, [30] чем буржуа, с своей стороны, очень доволен. Брибри и мабишь постоянно процветают, а теперь более, чем когда-нибудь. Кроме того, что так уж условлено (и почти без всякого разговору), что мабишь и брибри должны в наше хлопотливое время служить моделью добродетели, согласия и райского состояния общества в упрек гнусным бредням нелепых бродяг-коммунистов, кроме того, брибри с каждым годом становится все стоворчивее и стоворчивее в супружеском отношении. Он понимает, что как ни говори, как ни устройай, а мабишь нельзя удержать, что парижанка создана для любовника, что мужу почти невозможно обойтись без прически, он и молчит, разумеется, покамест у него еще мало приколплено денег и не заведено еще много вещей. Когда же то и другое выполнится, брибри становится вообще требовательнее, потому что начинает ужасно уважать себя. Ну тут уже и на Гюстава он начинает смотреть иначе, особенно если тот вдобавок и оборванец и не имеет много вещей. Вообще парижанин, чуть-чуть с деньжонками, желая жениться, и выбирает невесту с деньжонками. Мало того: предварительно сосчитываются, и если окажется, что франки и вещи с той и другой стороны одинаковы, то и совокупляются. Это и везде так происходит,

но тут уж в особенный обычай вошел закон равенства карманов. Если, например, у невесты хоть копейкой больше денег, то ее уж и не отдадут такому искателю, у которого меньше, а ищут брибри получше. Кроме того, браки по любви становятся все более и более невозможными и считаются почти неприличными. Благоразумный этот обычай непрямого равенства карманов и бракосочетания капиталов нарушается весьма редко, и я думаю, гораздо реже, чем везде в другом месте. Обладание жениными денежками буржуа очень хорошо устроил в свою пользу. Вот почему он и готов во многих случаях смотреть сквозь пальцы на похождения своей мабишь и не замечать иных досадных вещей, потому что тогда, то есть при размолвке, может неприятно подняться вопрос о приданом. К тому же, если мабишь и защеголяет не по состоянию, то брибри, хоть и все заметивший, про себя примиряется: меньше с него спросит жена на наряды. Мабишь тогда гораздо стоворчливее. Наконец, так как брак большею частью есть бракосочетание капиталов и о взаимной склонности заботятся очень немного, то и брибри не прочь заглянуть куда-нибудь от своей мабишь на сторону. А потому всего лучше не мешать друг другу. Да и согласия в доме больше и милый лепет милых имен: брибри и мабишь — раздается между супругами всего чаще и чаще. А наконец, если все сказать, так ведь брибри и на этот случай удивительно хорошо успел себя обеспечить. Полицейский комиссар во всякую минуту к его услугам. Уж так по законам, которые устроил он себе сам. В крайнем случае, застав любовников *en flagrant delit*, [31] он ведь убить их может обоих и за это ничем не отвечает. Мабишь это знает и сама это похваливает. Долгой опекой довели до того мабишь, что она не ропщет и не мечтает, как в иных варварских и смешных землях, учиться, например, в университетах и заседать в клубах и депутатах. Она лучше хочет оставаться в теперешнем воздушном и, так сказать, канареечном состоянии. Ее рядят, ее гантируют, ее возят на гулянья, она танцует, она кушает конфетки, наружно принимают ее как царицу, и мужчина перед ней наружно во прахе. Эта форма отношений удивительно удачно и прилично выработана. Одним словом, рыцарские отношения соблюдены, и чего же более? Ведь Гюстава у ней не отымут. Каких-нибудь там добродетельных, высоких целей в жизни и т.д., и т.д. ей тоже не надо: она, в сущности, такая же капиталистка и копеечница, как и супруг. Когда проходят канареечные годы, то есть дойдет до того, что уж никаким образом нельзя более себя обманывать и считать канарейкой; когда возможность нового Гюстава становится уже решительною нелепостью, даже при самом пылком и самолюбивом воображении, тогда мабишь вдруг быстро и скверно перерождается. Куды девается кокетство, наряды, игривость. Она делается большею частью такой злой, такой хозяйкой. Ходит по церквам, копит с мужем деньги, и какой-то цинизм проглянет вдруг со всех сторон: являются вдруг какая-то усталость, досада, грубые инстинкты, бесцельность существования, цинический разговор. Даже неряхами какими-то становятся иные из них. Разумеется, не все так; разумеется, бывают и другие, более светлые явления; разумеется, и везде есть такие же социальные отношения, но... тут все это более на своей почве, оригинальнее, самобытнее, полнее, тут все это национальнее. Тут родник и зародыш той буржуазной общественной формы, которая царит теперь по всему свету в виде вечного подражания великой нации. Да, наружно мабишь — царица. Трудно и вообразить, какая утонченная вежливость, какое навязчивое внимание окружает ее всюду в обществе и на улице. Субдительность удивительная; доходит подчас до такой маниловщины, что иная честная душа и не стерпела бы. Явная плутня подделки оскорбила бы ее до глубины сердца. Но мабишь сама большая плутовка, и... ей только того и надобно... Свое-то она всегда возьмет и всегда предпочтет сплутовать, чем идти честно напрямик: и

вернее, по ее мнению, да и игры больше. А ведь игра, интрига — в этом все для мабиши; в этом самое главное дело. Зато как они одеваются, как ходят по улице. Мабишь манерна, выломана, вся неестественна, но это-то и пленяет, особенно блазированных [32] и отчасти развращенных людей, потерявших вкус к свежей, непосредственной красоте. Мабишь развита весьма плохо; умишки и сердчишки у них птичьи, но зато она грациозна, зато она обладает бесчисленными секретами таких штучек и вывертов, что вы покоряетесь и идете за нею, как за пикантной новинкой. Она даже редко и хороша собой. Что-то даже злое в лице. Но это ничего: это лицо подвижно, итрово и обладает тайною подделки под чувство, под натуру в высочайшей степени. Вам, может быть, нравится-то в ней не то именно, что она этой подделкой достигает натуры, но самый этот процесс достижения подделкой вас очаровывает, искусство очаровывает. Для парижанина большею частью все равно, что настоящая любовь, что хорошая подделка под любовь. Даже подделка, может быть, больше нравится. Какой-то восточный взгляд на женщину проявляется в Париже все более и более. Камелия все более и более в моде. "Возьми деньги, да обмани хорошенько, то есть подделай любовь", — вот что требуют от камелии. Почти не более требуют и от эпзузы, по крайней мере довольны и этим, а потому Гюстав молча и снисходительно позволяет. К тому же буржуа знает, что мабишь к старости войдет вся в его интересы и будет усерднейшая ему помощница копить деньги. Даже и в молодости помогает чрезвычайно. Она иногда ведет всю торговлю, заманивает покупателей, одним словом, правая рука, старший приказчик. Как не простить тут какого-нибудь Гюстава. На улице женщина неприкосновенна. Никто не оскорбит ее, все перед ней расступаются, не так, как у нас, где женщина мало-мальски нестарая двух шагов пройти не может по улице без того, чтоб какая-нибудь воинственная или потаскливая физиономия не заглянула ей под шляпку и не предложила познакомиться. Впрочем, несмотря на возможность Гюстава, обыденная, обрядная форма отношений между брибри и мабишью довольно мила и даже часто наивна. Вообще, заграничные люди — это мне в глаза бросилось — почти все несравненно наивнее русских. Трудно объяснить это подробнее; нужно самому заметить. *Le Russe est sceptique et moqueur*, [33] говорят про нас французы, и это так. Мы больше циники, меньше дорожим своим, даже не любим свое, по крайней мере не уважаем его в высшей степени, не понимая, в чем дело; лезем в европейские, общечеловеческие интересы, не принадлежа ни к какой нации, а потому, естественно, относимся ко всему холоднее, как бы по обязанности, и во всяком случае отвлеченнее. Впрочем, и я отвлекся от предмета. Брибри подчас чрезвычайно наивен. Гуляя, например, вокруг фонтанчиков, он пустится объяснять своей мабишь, отчего бьют фонтаны кверху, объясняет ей законы природы, национально гордится перед ней красотой Булонского леса, иллюминацией, игрою версальских *les grandes eaux*, [34] успехами императора Наполеона и *gloire militaire*, наслаждается ее любопытством и удовольствием и много доволен этим. Самая плутоватая мабишь тоже довольно нежно относится к супругу, то есть не то что подделкой какой-нибудь, а бескорыстно нежно, несмотря даже на прическу супруга. Разумеется, я не претендую, как лесажев бес, снимать крыши с домов. Я рассказываю только, что мне в глаза бросилось, что мне показалось. *Mon mari n'a pas encore vu la mer?*, [35] — говорит вам иная мабишь, и голос ее изображает искреннее, наивное соболезнование. Это означает, что муж еще не ездил куда-нибудь в Брест или в Булонь посмотреть на море. Нужно знать, что у буржуа есть некоторые пренаивные и пресерьезные потребности, почти обратившиеся в общую буржуазную привычку. Буржуа, например, кроме потребности накопить и потребности красноречия,

имеет еще две потребности, две законнейшие потребности, освященные всеобщей привычкой и к которым он относится чрезвычайно серьезно, чуть не патетически. Первая потребность это – *voir la mer*, видеть море. Парижанин проживает и торгует иногда в Париже всю жизнь и не видит моря. Для чего ему видеть море? он и сам не знает, но он желает усиленно, чувствительно, откладывает поездку с году на год, потому что обыкновенно задерживают дела, тоскует, и жена искренно разделяет тоску его. Вообще тут даже много чувствительного, и я уважаю это. Наконец ему удастся улучшить время и средства; он собирается и на несколько дней едет "видеть море". Возвратясь, он рассказывает напыщенно и с восторгом о своих впечатлениях жене, родне, приятелям и сладко вспоминает всю жизнь о том, что он видел море. Другая законная и не менее сильная потребность буржуа, и особенно парижского буржуа, – это *se rouler dans l'herbe*. [36] Дело в том, что парижанин, выехав за город, чрезвычайно любит и даже за долг почитает поваляться в траве, исполняет это даже с достоинством, чувствуя, что соединяется при этом *avec la nature*, [37] и особенно любит, если на него кто-нибудь в это время смотрит. Вообще парижанин за городом считает немедленную свою обязанностью стать тотчас же развязнее, игривее, даже молодцеватее, одним словом, смотреть более естественным, более близким к *la nature* человеком. *L'homme de la nature et de la verite!* Уж не с Жан-Жака ли и проявилось в буржуа это усиленное почтение к *la nature*? Впрочем, обе эти потребности: *voir la mer* и *se rouler dans l'herbe* – парижанин позволяет себе большею частью только тогда, когда уже накопит себе состояние, одним словом, когда сам начинает уважать себя, гордиться собою и смотреть на себя как на человека. *Se rouler dans l'herbe* бывает даже вдвое, вдесятеро слаще, когда происходит на собственной, купленной на трудовые деньги земле. Вообще буржуа, удаляясь от дел, любит купить где-нибудь землю, завести свой дом, сад, свой забор, своих кур, свою корову. И будь все это даже в самом микроскопическом размере, все равно – буржуа в самом детском, в самом трогательном восторге: "*Mon arbre, mon mur*", [38] – твердит он себе и всем, кого зазовет к себе, поминутно и затем не перестает уже повторять себе это всю свою жизнь. Вот тут и слаще всего *se rouler dans l'herbe*. Чтоб исполнить эту обязанность, он заводит себе непременно лужок перед домом. Кто-то рассказывал, что у одного буржуа никак не вырастала трава на месте, определенном для лужайки. Он растил, поливал, накладывал срезанный в другом месте газон – ничего на песке не выходило и не принималось. Такое уж место случилось перед домом. Тогда он будто бы купил себе деланный газон; нарочно ездил за этим в Париж, заказал себе там кружок травки величиною в сажень в диаметре и расстилал этот коверчик с длинной травой каждые послеобеда, чтоб хоть обмануть себя, да утолить свою законную потребность и поваляться в траве. От буржуа в первые минуты упоения своей благоприобретенной собственностью, пожалуй, это и становится, так что нравственно тут ничего нет невероятного. Но два слова и о Гюставе. Гюстав, конечно, то же самое, что и буржуа, то есть приказчик, купец, чиновник, *homme de lettres*, [7] офицер. Гюстав – это неженатый, но тот же самый брибри. Но не в том дело, а в том, во что рядится и драпируется теперь Гюстав, чем он теперь смотрит, какие на нем теперь перья. Идеал Гюстава изменяется сообразно эпохам и всегда отражается на театре в том виде, в котором носится в обществе. Буржуа особенно любит водевиль, но еще более любит мелодраму. Скромный и веселый водевиль – единственное произведение искусства, которое почти не пересадимо ни на какую другую почву, а может жить только в месте своего зарождения, в Париже, – водевиль, хоть и прельщает буржуа, но не удовлетворяет его вполне. Буржуа

все-таки считает его за пустяки. Ему надо высокого, надо неизъяснимого благородства, надо чувствительности, а мелодрама все это в себе заключает. Без мелодрамы парижанин прожить не может. Мелодрама не умрет, покамест жив буржуа. Любопытно, что даже самый водевиль теперь перерождается. Он хоть и все еще весел и уморительно смешон по-прежнему, но теперь уже сильно начинает примешиваться к нему другой элемент – нравоучение. Буржуа чрезвычайно любит и считает теперь священнейшим и необходимейшим делом читать при всяком удобном случае себе и своей мабишь наставления. К тому же буржуа теперь властвует неограниченно; он сила; а сочинителишки водевилей и мелодрам всегда лакеи и всегда льстят силе. Вот почему буржуа теперь торжествует, даже выставленный в смешном виде, и под конец ему всегда докладывают, что все обстоит благополучно. Надо думать, что подобные доклады серьезно успокаивают буржуа. У всякого малодушного человека, не совсем уверенного в успехе своего дела, является мучительная потребность разуверять себя, ободрять себя, успокаивать. Он даже начинает верить в благоприятные приметы. Так точно и тут. В мелодраме же предлагаются высокие черты и высокие уроки. Тут уж не юмор; тут уже патетическое торжество всего того, что так любит брибри и что ему нравится. Нравится ему более всего политическое спокойствие и право копить себе деньги с целью устроить поспокойнее недра. В этом характере пишутся теперь и мелодрамы. В этом же характере является теперь и Гюстав. По Гюставу всегда можно проверить все то, что в данную минуту брибри считает идеалом неизъяснимого благородства. Прежде, давно уже, Гюстав являлся каким-то поэтом, художником, непризнанным гением, загнанным, замученным гонениями и несправедливостями. Он боролся похвально, и кончалось всегда так, что виконтесса, втайне по нем страдающая, но к которой он презрительно равнодушен, соединяла его с своей воспитанницей Сесиль, не имевшей ни копейки, но у которой вдруг оказывались бесчисленные деньги. Гюстав обыкновенно бунтовался и отказывался от денег. Но вот на выставке произведение его увенчалось успехом. В квартиру его тотчас же врываются три смешные милорда и предлагают ему по сту тысяч франков за будущую картину. Гюстав презрительно смеется над ними и в горьком отчаянии объявляет, что все люди подлецы, недостойные его кисти, что он не понесет искусства, святого искусства, на профанацию пигмеям, до сих пор не заметившим, как он велик. Но врывается виконтесса и объявляет, что Сесиль умирает от любви к нему и что поэтому следует писать картины. Тут-то Гюстав догадывается, что виконтесса, прежний враг его, через которую ни одно из произведений его до сих пор не попадало на выставку, втайне его любит; что она мстила ему из ревности. Разумеется, Гюстав немедленно берет от трех милордов деньги, обругав их в другой раз, чем они остаются очень довольны, потом бежит к Сесиль, соглашается взять ее миллион, прощает виконтессу, которая уезжает в свое поместье, и, совокупившись законным браком, начинает заводить детей, фланелевую фуфайку, *bonnet de coton* [39] и прогуливается с мабишь по вечерам возле благодетельных фонтанчиков, которые тихим плеском своих струй, разумеется, напоминают ему о постоянстве, прочности и тишине его земного счастья. Иногда случается, что Гюстав не приказчик, а какой-нибудь загнанный, забитый сирота, но в душе полный самого неизъяснимого благородства. Вдруг оказывается, что он вовсе не сирота, а законный сын Ротшильда. Получаются миллионы. Но Гюстав гордо и презрительно отвергает миллионы. Зачем? Уж так нужно для красноречия. Но вот врывается мадам Бопре, банкирша, – влюбленная в него и у мужа которой он находится в услужении. Она объявляет, что Сесиль сейчас умрет от любви к нему и чтоб он шел ее спасать. Гюстав догадывается, что мадам Бопре в него влюблена,

подбирает миллионы и, обругав всех самыми скверными словами за то, что во всем роде человеческом нет такого же неизъяснимого благородства, как в нем, идет к Сесиль и совокупляется с нею. Банкирша едет в свое поместье. Бопре торжествует, ибо жена, бывшая на краю гибели, все еще остается чистой и непорочною, а Гюстав заводит детей и по вечерам ходит гулять около благодетельных фонтанчиков, которые плесками струй напоминают ему и т.д., и т.д. Теперь неизъяснимое благородство чаще всего изображается или в военном офицере, или в военном инженере, или что-нибудь в этом роде, только чаще всего в военном и непременно с ленточкой Почетного легиона, "купленной своею кровью". Кстати, эта ленточка ужасна. Носитель до того ею чванится, что с ним нельзя почти встретиться, нельзя с ним ни ехать в вагоне, ни сидеть в театре, ни встречаться в ресторане. Он только что не плюет на вас, он куражится над вами бесстыдно, он пыхтит, задыхается от куражу, так что вас наконец начинает тошнить, у вас разливается желчь и вы принуждены посылать за доктором. Но французы это очень любят. Замечательно еще, что в театре слишком особенное внимание обращается теперь и на мосье Бопре, по крайней мере более гораздо, чем прежде. Бопре, разумеется, накопил много денег и завел очень много вещей. Он прям, прост, немного смешон своими буржуазными привычками и тем, что он муж; но он добр, честен, великодушен и неизъяснимо благороден в том акте, в котором он должен страдать от подозрения, что мабишь ему неверна. Но все-таки он великодушно решается простить ее. Оказывается, разумеется, что она чиста, как голубь, что она только пошалила, увлеклась Гюставом, и что брибри, раздавливающий своим великодушием, ей дороже всего. Сесиль, разумеется, по-прежнему без гроша, но только в первом акте; впоследствии же у ней оказывается миллион. Гюстав горд и презрительно благороден, как и всегда, только куражу больше, потому что военная косточка. У него всего дороже на свете его крест, купленный кровью, и "l'epee de mon pere". [40] Об этой шпаге своего отца он говорит поминутно, некстати, всюду; вы даже не понимаете, в чем дело; он ругается, плюется, но все ему кланяются, а зрители плачут и аплодируют (плачут, буквально). Разумеется, у него ни гроша, это sine que non. [41] Мадам Бопре, разумеется, влюблена в него, Сесиль тоже, но он не подозревает любви Сесили. Сесиль кричит от любви в продолжение пяти актов. Идет, наконец, снег или что-нибудь в этом роде. Сесиль хочет броситься в окно. Но под окошком раздаются два выстрела, все сбегается; Гюстав, бледный, с подвязанной рукой, медленно входит на сцену. Ленточка, купленная кровью, сверкает на его сюртуке. Клеветник и оболститель Сесили наказан. Гюстав забывает наконец, что Сесиль его любит и что все это штуки мадам Бопре. Но мадам Бопре бледная, испуганная, и Гюстав догадывается, что она его любит. Но раздается опять выстрел. Это Бопре, убивающий себя от отчаяния. Мадам Бопре вскрикивает, бросается к дверям, но является сам Бопре и несет убитую лисицу или что-нибудь в этом роде. Урок дан; мабишь его никогда не забудет. Она льнет к брибри, который все прощает. Но вдруг является у Сесиль миллион, и Гюстав опять бунтуется. Он не хочет жениться, Гюстав ломается, Гюстав ругается скверными словами. Надо непременно, чтоб Гюстав ругался скверными словами и плевал на миллион, иначе буржуа не простит ему; неизъяснимого благородства будет мало; пожалуйста, не думайте, чтоб буржуа противоречил себе. Не беспокойтесь: миллион не минует счастливую чету, он неизбежен и под конец всегда является в виде награды за добродетель. Буржуа себе не изменит. Гюстав берет под конец миллион Сесиль, и затем начинаются неизбежные фонтанчики, котоновые колпаки, плеск струй и проч., и проч. Таким образом, и чувствительности выходит много, и неизъяснимого благородства с три короля, и Бопре, торжествующий и раздавивший всех

своими семейными добродетелями, и, главное, главное миллион, в виде фатума, в виде закона природы, которому вся честь, слава и поклонение, и т. д., и т. д. Брибри и мабишь выходят из театра совершенно довольные, успокоенные и утешенные. Гюстав их сопровождает и, подсаживая чужую мабишь в фиакр, потихоньку целует у нее ручку... Все идет как следует.

Примечания 1 кордонные — (франц. — cordon) — прямые, вытянутые по шнуру. 2 ou la vie — или жизнь (франц.). 3 pour paraitre — чтобы выглядеть (франц.). 4 Mais moi c'est autre chose — Я — другое дело (франц.). 5 a la demisolde — на половинном жалованье (франц.). 6 — ваше общественное положение (франц.). 7 — литератор (франц.). 8 — собственник (франц.). 9 pour voir Paris — чтобы видеть Париж (франц.). 10 Crois-tu cela? — Веришь ли ты в это? (франц.). 11 — третье сословие — это все (франц.). 12 apres moi le deluge! — после меня хоть потоп! (франц.). 13 эпужы (франц. — eouses) — жены. 14 rot-au-feu — суп (франц.). 15 гантируются (франц. — gant) — носят перчатки. 16 gloire militaire — воинская слава (франц.). 17 Jacques Bonhomme — Жак Простак (франц.). 18 faire fortune — составить состояние (франц.). 19 Liberte, egalite, fraternite ou mort — Свобода, равенство, братство или смерть (франц.). 20 l'Etat c'est moi — Государство — это я (франц.). 21 suffrage universel — всеобщего избирательного права (франц.). 22 la salle de pas perdus — зал ожидания (франц.). 23 front virginal — девственный лоб (франц.). 24 Ci-git Voltaire — Здесь погребен Вольтер (франц.). 25 Ci- — Здесь погребен Жан-Жак Руссо... человек природы и истины! (франц.). 26 Ci-git Lannes — Здесь погребен Ланн (франц.). 27 C'est fini, monsieur — Кончено, сударь (франц.). 28 quelques senateurs — несколько сенаторов (франц.). 29 ma biche — моя козочка (франц.). 30 bribri — птичка (франц.). 31 en fragrant delit — на месте преступления (франц.). 32 блазированный (франц. — blase) — пресыщенный. 33 Le Russe est sceptique est moquer — Русский — скептик и насмешник (франц.). 34 les grandes eaux — больших фонтанов (франц.). 35 Mon mari n'a pas encore vu a la mer — Мой муж еще не видел моря (франц.). 36 se rouler dans l'herbe — повалаться на траве (франц.). 37 avec la nature — с природой (франц.). 38 mon arbre, mon mur — Мое дерево, моя стена (франц.). 39 — колпак на вате (франц.). 40 l'eree de mon pere — шпага моего отца (франц.). 41 sine qua non — обязательное условие (лат.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды
 Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения.
 Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!